

БОР. ПИЛЬНЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

V

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



БОРИС ПИЛЬНЯК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

★

ТОМ

V

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОРИС ПИЛЬНЯК

ПРОСТЫЕ РАССКАЗЫ

★



МОСКВА

1930

ЛЕНИНГРАД

О Т П Е Ч А Т А Н О
в 1-й ОБРАЗЦОВОЙ типографии
Гиза. Москва, Валуевая, 28.
Главд. А-46589. X. 20. Гиз 32257.
Заказ 2289. Тираж 5 000 экз.
16½ л.

РАСПЛЕСНУТОЕ ВРЕМЯ

Жизнь очень напряжена. Человеческий мозг, как кувшин с водой, может наполняться только до пределов: иначе польется через край; и огромное счастье не иметь на столе блок-нота, где записано: «рукописи в «Круг», позвонить курьеру», «в пять А. Б., приготовить книги», «в два позвонить Дикому», «предупредить Всеволода». Дома все знают, что до четырех «нет дома, кто спрашивает?» — потому, что я сижу за столом, иначе невозможно, — надо прятаться даже от звонков. Но в семь всегда надо выходить из дому — для встреч, для театра, для заседаний и споров, — это счастье, если ляжешь спать в два. И это несчастье, если надо днем пойти в редакцию за гонораром, в район за паспортом или о подоходном налоге, — день погиб: время чрезвычайно тесно, а мозги, как кувшин с водой, надо беречь, чтобы не расплескать мысли. Необходимо писать, словами и образами можно беречь и — можно орать, как закричала бы, должно быть, кошка, если бы ей не дали возможности разродиться, и поистине по-кошачьи надо иной раз кричать, что «нету дома, снимите телефонную трубку!» — Чтобы писать — надо никуда не спешить и беречь свой кувшин мозгов, не расплескать. И книжек на полках растет все больше, по полкам книг уползаешь все выше, где все начинает одиночествовать, — да ползешь и по полкам лет, волосы

уже не рыжие, не ражие, выцветают. Всякая жизнь однообразна, и у меня такое же, как у всех, однообразие.

Приехал из Питера Замятин. Обедали, собрались в театр. Евгений с репетиции (приезжал смотреть, как ставят во Втором МХТ «Блоху») заезжал в «Современник», привез оттуда мне письмо, присланное в адрес редакции (когда собрался я уже из дома, звонил Рукавишников, с ним давно мы затеяли переписку с Хлебного на Поварскую, причем Хлебный переселялся в Испанию, а Поварская на Шницберген, где был я по осени, и решить мы в письмах хотели истину шахматной игры, переплетенную в гофмановский переплет последней — прекрасной — Любви); Евгений передал мне письмо, я положил его в карман, решив прочесть потом; Замятин и я, мы пошли в Художественный на «Ревизора», в антракте Евгений пошел за кулисы, а я остался, чтоб прочесть письмо.

Вот оно:

16/XI—1924 г.

«Читала Вашу книгу «Былье» и вспомнила 19-й год, мою поездку за хлебом и знакомство с Вами. Помните телячий вагон, Вашу поездку за хлебом и девушку с рыжими волосами? Вы, кажется, не знали моего имени и называли меня Тезкой. Помните Ваши настойчивые и упорные желания, которые я не хотела исполнить. Вначале я ведь ни капельки не боялась Вас, и мы бродили далеко, далеко по полотну железной дороги. Гуляли, болтали, лежали на Вашей шинели. Вы мне рассказывали о чем-то красиво, красиво, и мне хотелось бесконечно слушать. Обрато ехали на станцию на площадке встречного поезда, тесно прижавшись друг к другу. Тогда мне приятно было чувствовать мужчину сильного, страстного... Вы же, надеясь, верно, что я уступлю, чем дальше, тем упорней настаивали...

С тех пор прошло пять лет. Я изменилась так, что Вы едва ли, встретив, узнали бы. Много пережила, стала опытной и поняла, что Вы поступили великодушно. На свете столько зла и насилия, что теперь я оценила Вас. Я ведь была наивна и беззащитна, и стоило Вам приложить побольше усилия, чтобы оставить ужасный и вечный след на моей душе. Но вы не сделали этого. Благодарю.

Теперь у меня просьба к Вам: укажите возможность достать «Голый год». Я искала и в К. и в Я., но нигде не нашла, здесь книжные рынки очень бедны, и из Ваших книг, кроме «Былья», ничего нет. Хотела бы знать, в каком журнале Вы сотрудничаете. Видела Вашу фамилию в «Русском современнике», но это было еще летом, так что теперь не знаю, в какое издательство писать.

Простите за непоследовательность мыслей и фраз. Но я пишу между делом — тороплюсь на поезд. А потом, вообще, человек страшно непоследовательный. Если надумаете написать, то вот мой адрес.

Чувствую, что надоела Вам, а потому спешу кончить.

Валентина - Тезка.

P. S. А все ж таки напишите мне, я буду ждать».

Прочитал и вспомнил девятнадцатый год, шпалы, степные ночи, рыжую девушку со стремительными движениями. У меня в кармане лежал документ: «рабочий-наборщик Коломенской типографии», — липовый документ, — но я ехал с коломенскими рабочими; тогда откупались целые вагоны и они аргонавтили по степям за пудами ржи в войнах с заградительными отрядами, — и соседним аргонавтским кораблем был вагон иваново-вознесенских ткачих; я был уполномоченным нашего вагона, уполномоченной ткачих была рыжеволосая девушка, и вскоре узналось,

что она такая же «ткачиха», как я «наборщик»: она только что окончила гимназию, собиралась — или в Москву на курсы, или в село в учительницы. В памяти моей не сохранилось, чтобы я добивался ее так, как написала она в этом письме, мы все тогда были в полубреде и за гомерическими матерщинами в борьбе за кусок хлеба, за мешок муки (под тяжестью которого до слез больно подгибались ноги этой рыжеволосой девушки), а мы только двое в этом человеческо-волчьем бреду были одинаковы по происхождению и культуре... Прочитал письмо, думал, как далеко ушел от меня девятнадцатый год, когда я в неизвестности писал первые свои рассказы и жил рядовым мешечником, — решил, что этой девушке напишу письмо, правда, решил чуть-чуть спровокатить, чтобы вызвать ее на откровенность, чтобы узнать чужую жизнь. Показал письмо Замятину, он говорил лирические слова о женственности и о лирике женщин, предположил, что эта девушка хочет в письмах рассказать мне, далекому, о себе и что у нее какие-то горести. Мне приятно было так думать, как думал Замятин, и приятно было его слушать. Весь тот вечер я вспоминал рыжеволосую девушку и думал о девятнадцатом годе. И всем показывал это письмо, потому что, в сущности, в моем «разнообразии» бытия, в том «кувшине», который нельзя опрокинуть, — и очень большое однообразие, и всегдашняя радость все расплескать.

Наутро я писал то, что было на очереди. В сумерки я написал ей, этой девушке, письмо. Вечером мы собрались слушать Андрея Белого. Я дал Феде прочесть письмо девушки, он тоже, как Замятин, говорил лирически по поводу него и записал себе, чтоб наутро распорядиться отослать мои книги ей. Ольга рассказала мне содержание рассказа Марсея Прево, которого я не читал, где рассказывается, как из Парижа приехал молодой чиновник в провинцию и тишину, где дни плетутся, как годы; там он

встретился с женщиной, женой мужа, у них была мимолетная связь, он говорил ей прекрасные слова и уехал обратно в Париж; она мечтала о нем всю жизнь, о том, что в Париже есть человек, который любит ее, которого любит она, — эта любовь скрашивала ее годы и ее жизнь, у нее было оправдание будней, и она могла жить ожиданием... А он, тот молодой чиновник, у которого были тысячи связей, делал карьеру в Париже и министром приехал в город, где жила любящая его женщина. Она пошла встречать его на вокзал, и он прошел мимо, не заметив и не узнав ее...

Я написал этой девушке:

«Тезка, здравствуйте.

Ваше письмо передали мне. Помню то лето, те мытарства, шпалы и теплушки. Помню Вас, Тезка, Ваши рыжие волосы, Вашу особливость от всех, — тот пригорок у шпал, где в синей ночи мы караулили тишину и звезды.

В Вашем письме прозвучали, мне показалось, горькие обо мне нотки: говорю правду, никогда там в этом нашем «шпальном» прошлом ни на минуту не хотел сделать я Вам больно и нехорошо, — впрочем, годы заставили Вас передумать обо мне. Вы написали искренно и заговорили о том, о чем так трудно говорят женщины и о чем вообще трудно говорить, — я не принимал наши отношения такими, как показались они Вам. Мы встретились на минуту, в далеком прошлом, на шпалах, — Вы написали искренно и просто — и давайте будем писать друг другу по-хорошему, о самом главном, о чем не говорят... Хорошо?

Вы пишете, что я был великодушен, — Вы пишете, что «на свете столько зла и насилия» и что Вы стали совсем другой. Я помню ту рыжеволосую девушку с такой стремительной походкой. Что стало с ней, с этой девушкой, как прошли эти ее пять лет, какие

обиды и какие радости принесли они, самое главное — в чем? Я знаю, как трудно писать о том, о чем не пишут, — так Вы присылайте все, что напишется, как напишется, со всеми помарками, — мне все будет дорого от Вас. В Вашем письме есть надломанность, чуть-чуть боли, — да — «человек страшно непоследователен». Все, все напишите мне. Я так хорошо помню сейчас ту караульную тишину, шпальные пути, и те дни с Вами, и Вас.

Что же сказать о себе? Буду ждать Вашего письма, чтобы знать, что Вы хотите знать обо мне, все расскажу, как есть, как было. Что же, я — писатель, пишу книги, пишу про свою и чужую жизнь, плету вымыслы с явю. Быть может, Вы слышали, что мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала — долгой — быть русским писателем и быть честным с собой и Россией. Я живу в Москве, — тоже и у меня многое унесли эти годы, ударило мне тридцать, пришло мужество, — те далекие шпалы мне кажутся путем и преддверием к тому, кто вокруг меня.

Всего хорошего Вам. Письма Вашего жду.

Руку Вашу целую крепко. — Вы написали, что благодарите меня, потому что я «поступил великодушно», и сейчас же противопоставляете этому зло: — «почему?»

Такое письмо написал я. Федя (он же Давид Кириллович) отослал мои книги с препроводительным письмом, «многоуважаемая», «ваш покорный слуга».

И я получил ответ:

3/XII—24 г.

«Прежде всего искренно, от души благодарю Вас за книги. Вы мне доставили громадное удовольствие. Их я еще не прочла. Хотя если б и прочитала, едва ли бы

написала свое мнение о них. Это было бы, пожалуй, немножко смешно и нелепо. Мне ли, посредственной и обыкновенной женщине, давать отзывы о произведениях, когда о них говорит Троцкий и другие известные и влиятельные личности. Еще раз благодарю, большое, большое спасибо за них. Теперь о письме. Его я получила, прочла и то, что не совсем поняла, прошу объяснить Вас. Мне хотелось бы знать, что Вы в письме своем называете «главным», разве то, о чем Вы сказали «трудно говорить», есть самое главное? Может быть, оно могло быть главным для меня, для других, а разве Вы физиологическое влечение полов считаете главным? А разве Ваша работа, занятия, общественная жизнь не есть самое главное? Может быть, я не так поняла, тогда объясните. Потом скажите, почему Вы думаете, что женщины вообще трудно говорят об этом. Разве? Я лично смотрю на вещи проще и шире и не нахожу, что было бы трудно или неудобно говорить о чем бы то ни было, тем более с мужчиной, да еще в письме.

Теперь о себе. — Через полтора года после поездки за хлебом я встретила с человеком, с которым суждено было разделить самые красивые, высокие и в то же время обыкновенные переживания. Впрочем, оговорюсь, у нас они были, может быть, слишком необыкновенными, так как по темпераменту оба слишком эксцентричны. Это было в Плессе, — природа, молодость, красота переживаний, — ну, чего бы еще надо. Казалось, любили друг друга безумно. — Однако вышло не так, как у всех: часы волшебных снов сменились ужасными часами нечеловеческих мучений. Мучили друг друга до иступления, до сумасшествия и отчаяния. Мучили без всяких причин и поводов. Дело доходило до того, что у меня отнимали из рук яд и считали за

психически больную. Несколько раз собирались разойтись, но разве могли это сделать, когда что-то было настойчивее и сильнее нас обоих. И снова часы мучений сменялись сладостными часами безумной страсти... Так прошло более двух лет. Красивые переживания стали терять свою остроту, да и характеры стали более уравновешенными. Стало скучно. Я чувствовала, что так продолжаться не может, знала, что, если останется в таком положении, будет сплошная неудовлетворенность, апатия, скука. Собралась и уехала. Вот теперь живу в К., муж мой близ Я... Когда делаемся необходимыми друг другу, — я езжу туда, так лучше, красивей и полней течет жизнь. Мне здесь хорошо. Я учусь — получаю специальное образование, а какое — скажу в другой раз.

Пока всего доброго, славный мой попутчик.

Пишите.

Т е з к а.

Письмо принесли утром, за работой. Прочитал и понял, что с этой попутчицей мои пути — никогда уже больше не сойдутся, что и Ольга, и Замятин, и Федя, и я — плохие мы психологи, — что не так уж страшно, что растут мои полки лет и книг и что скучно бывает беречь кувшины мозгов.. А рыжую девушку — из того шпального девятнадцатого года — простит бог!

И тогда я думал — вот о чем: —

— — мой товарищ, писатель, старик, одинокий человек, оторвавшийся от этих наших дней, донашивающий пальто, сшитое в девятьсот десятом году, небритый: в его комнате, бывшей ранее мастерской художника, на чердаке, горько пропахло старческой псиной, от девятнадцатого года застряли в комнате нищета, убожество, грязь, сбитые валенки, махорка, — как в нем, в человеке, застряла от того же девятнадцатого года старческая

чужаковатость, придурь. Его, этого моего друга, все забыли, — я остро присматривался к нему.

И вот было сентябрьское утро, моросил дождь. Он проснулся и встал со своей койки, пропахшей человеческой нечистотой, еще до рассвета, в тот час, когда люди, недосыпая, всегда чувствуют себя несчастными. На спиртовке он вскипятил себе чаю, пил неспеша и потом, надев свое многолетнее пальто, пошел вон с чердака. Он никогда не спешил, переулочками он вышел к трамваю и с первым трамваем, 4-м номером, поехал на Ярославский вокзал. На первом дачном в мутном сиротстве сентябрьского утра он приехал в Лосино-Островскую. Там прошел на дачные поселки, перешел речушку, прошел деревней, — ушел в лес... И там в лесу он раскладывал костер, серые сучья горели медленно, дымили, чадили, убожествовали. Там в лесу против костра стоял высокий старик, небритый, нечистый, в пальто, посеребреншем от времени на локтях и у карманов, — стоял очень долго, неподвижно сгорбившись, руки в карманы, смотрел упорно в огонь, — пробовал было сесть у костра, но земля была сыра и холодна. Мимо проходили мальчишки, что собирали грибы, он не замечал их, они кричали:

— Эй, старик, ты что — колдун, что ль?

Постояли, посмотрели и пошли, — и, когда они уже скрылись, он, старик, сказал, полагая, что говорит им; — сказал тихо, любовно и хорошо:

— А я, детисечки, думаю, выдумываю... Так-то, ребятки...

Лес был помят сотнями тех, кто перебивал здесь за лето и годы, валялись консервные коробки, и у самого костра поблескивало бутылочное разбитое дно, деревья — ельник — стояли мокрые, затихшие, серые, дождь то переставал, то закапывал вновь, облака уничтожили небо и просторы. Костер горел скверно, не мог разгореться, коптил.

Старик вернулся домой в сумерки, опять медленно шел переулочками и дома, у себя на чердаке, неспеша растапливал железку, неспеша грел чай и вчерашнюю кашу. Пообедав, он лежал на кровати, прикрывшись тем же — промокшим — пальто, в котором был весь день, на ноги надел разбитые валенки, — читал старую толстую книгу: единственная электрическая лампочка на длинном шнурке с потолка была приспособлена так, что она вешалась и над кроватью, и над столом, и у железки. Это был седьмой этаж, где жил старик-писатель, и сюда не доходили уличные шумы.

К полуночи он отложил книгу, перевесил лампу от кровати к столу, с одного гвоздика на другой, вынул из стола толстую папку, разложил рукописи на столе и на новом листе, где наверху в углу стояла цифра страницы — 437, — стал писать, продолжать свой роман, почерк его был старчески крупен и неразборчив.

Он писал:

«...была весна. День шел к вечеру. В лесу не смолкли еще кукушки, но запел уже соловей. Из лесу пахло ландышами. Под горой протекал Днепр. Анатолий приехал на челне из-за Днепра и поднялся на гору, когда вдали за горами уже поднималась огненная луна. На условленном месте Лизы не было. Анатолий сломил старое дерево, разложил костер и лег около него. Костер загорелся быстро, палевыми огнями, в черное небо полетели золотые искры. Днепр потонул во мраке. Анатолий лежал против костра, смотрел на огонь и думал — о весне, о молодости, о Лизе... Надо было сегодня встретиться во что бы то ни стало, челн ждал под обрывом. И тогда неслышно к костру подошла Лиза в белом платье, сама молодая, как весна. Красные отсветы костра делали ее смуглое лицо» — —

Написав этот абзац, старик задумался, опустилась рука с пером, глаза стали пустыми так же, как днем в Лосино-Островском лесу, — пустыми и беспредельно-добрыми, милыми, всепрощающими, — а рука с забытым в пальцах пером была старческой, морщинистой, неопрятной, с грязными ногтями и с грязью, въевшейся в поры. Под дешевой электрической лампочкой на столе, рядом с рукой и рукописью, лежал черствый отрезок черного хлеба. Этот старик, мой друг, писатель не был талантливым писателем, революция его не печатала, — он писал только для себя, в стол для смерти...

...Вечером я прочту этот мой рассказ Ольге и Феде, и пусть они скажут мне, правильно ли сделал я, расплескав мое тесное время этим рассказом. Я же — сказал уже, что словами — беременею я и — можно орать, как закричала бы, должно быть, кошка, если бы ей не дали возможности найти темного угла, чтобы разродиться — —

Москва,

24 дек. 1924.

ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

I

Овраг был глубокий и глухой.

Его суглиняк и желтые скаты, поросшие красноствольными соснами, шли крутыми обрывами, а по самому дну протекал ключ. Над оврагом, направо и налево, стоял сосновый лес, — глухой, старый, затянутый мхами и заросший ольшаником. А наверху было тяжелое, серое, низко спустившееся небо.

Тут редко бывал человек.

Грозами, водою, временем корчевались деревья, падали тут же, застилая землю, гнили, и от них шел густой сладковатый запах тлеющей сосны. Чертополохи, цико-рии, рябинки, полыни не срывались годами и колючей щетиной поросли землю. На дне оврага была медвежья берлога, в лесу было много волков.

На крутом грязновато-желтом скате оборвалась сосна, перекинулась и повисла на много лет корнями кверху. Корни ее, походившие на застывшего осьминога, задравшиеся вверх, обросли уже кукушечьим мхом и можже-вельником.

И в этих корнях свили гнездо себе две большие серые птицы, самка и самец.

Птицы были большими, тяжелыми, с серовато-желтыми и коричневыми перьями, густо растущими. Крылья их

были коротки, широки и сильные; лапы с большими когтями заросли черным пухом. На коротких, толстых шеях сидели большие квадратные головы с клювами, хищно изогнутыми и желтыми, и с круглыми, суровыми, тяжело глядящими глазами.

Самка была меньше самца. Ее ноги казались тоньше и красивее, и была тяжелая какая-то и грубая грациозность в изгибах ее шеи. А самец был суров, угловат, и одно крыло его, левое, не складывалось, как следует: так отвисало оно с тех пор, когда он дрался с другими самцами за самку.

Гнездо располагалось между корней. Под ним с трех сторон падал отвес. Над ним стлалось небо и протягивалось несколько изломанных древесин корней. Кругом и внизу лежали кости, уже омытые дождями и белые. А само гнездо было уложено камнями и глиной и устлано пухом.

Самка всегда сидела в гнезде.

Самец же гомозился на лапе корня, над обрывом, одинокий, видящий своим тяжелым взглядом далее кругом и внизу, сидел, втянув в плечи голову и тяжело свесив крылья.

II

Встретились они, эти две большие птицы, здесь же, недалеко от оврага.

Уже нарождалась весна, по откосам таял снег, а в лесу и лощинах он стал серым и рыхлым, тяжелым запахом курились сосны, на дне оврага проснулся ключ. Днем пригревало солнце. Сумерки были зеленоватыми, долгими и настороженно гулкими. Волки ходили стаями, и самцы грызлись за самок.

Они встретились на поляне в лесу в сумерки.

Эта весна, солнце, мягкий ветерок вложили в тело самца неведомую тяготу. Раньше он летал или сидел, ухал или

молчал, летел быстро или медленно, потому что кругом и внутри него были причины: когда он чувал голод, он летел, чтобы найти зайца, убить его и съесть, когда сильно слепило солнце или резок был ветер, он скрывался от них, когда видел крадущегося волка, отлетал поспешно от него

Теперь было не так.

Уже не ощущения голода и самосохранения заставляли его летать, сидеть, кричать или молчать. Что-то, вне его и его ощущений лежащее, владело им.

Когда наступали сумерки, он, как в тумане, не ведая зачем, снимался с своего места и летел от поляны к поляне, от откоса к откосу, бесшумно двигая большими своими крыльями и зорко вглядываясь в зеленую насторожившуюся мглу.

И когда однажды он увидел на одной из полян себе подобных и самку среди них, он, не зная почему так должно быть, бросился туда, почувствовал чрезмерную силу в себе и великую ненависть к тем остальным самцам.

Он ходил около самки медленно, сильно оттаптывая, распутив крылья и задрал голову, и косо поглядывал на самцов. Один из них, тот, который до него был победителем, старался мешать ему, а потом бросился на него с приготовленным для удара клювом, и у них завязалась драка, долгая, молчаливая и жестокая, они налетали друг на друга, бились клювами, грудями, когтями, крыльями, глухо всклекотывая и разрывая друг другу тело.

Его противник оказался слабее и отстал, а он бросился снова к самке и ходил вокруг нее, немного прихрамывая и волоча по земле окровавленное свое левое крыло.

Сосны обстали поляну, земля была вся засыпана хвоей, синело ночное небо.

Самка была безразлична и к нему, и ко всем, она ходила спокойно по поляне, рыхлила землю, поймала мышь,

съела ее покойно. На самцов она, казалось, не обращала внимания.

Так было всю ночь

Но когда ночь стала бледнеть, а у востока легла зеленовато-лиловая черта восхода, она подошла к нему, победившему всех, прислонилась к его груди, потрогала нежно клювом его большое крыло, точно обнюхивая и исцеляя, и медленно, отделяясь от земли, полетела к оврагу.

И он, тяжело двигая больным крылом, но не замечая этого, пьяно всклекотывая, полетел за нею.

Она опустилась как раз у корней той сосны, где потом стало их гнездо. Самец сел рядом. Нерешительным и точно смущенным был он.

Самка обошла несколько раз вокруг самца, обнюхала снова его. Потом, прижимая грудь к земле, расставив ноги и подняв хвост, сожмутив глаза, — замерла в этом положении. Самец бросился к ней, хватая клювом ее перья, хлопая по земле тяжелыми своими крыльями, — и в его жилах потекла такая прекрасная мука, такая крепкая радость, что он ослеп, ничего не чувал, кроме этой муки сладкой, тяжело ухал, нарождая в овраге глухое эхо и всколыхивая пред-утро.

Самка была покорной.

На востоке уже ложилась красная лента восхода, и снега в лоцинах стали лиловыми.

III

Зимою сосны стояли неподвижными, и стволы их бурели. Снег лежал глубокий, сметенный в большие горы, хмуро склонившиеся к оврагу, небо стлалось серо, дни были коротки, и из них не уходили окончательно сумерки. А ночью от мороза трещали стволы и лопались ветки.

Светила в безмолвии бледная луна, и казалось, что от нее мороз становится еще крепче.

Ночи были мучительны — морозом и этим фосфорическим светом луны. Птицы сидели, сбившись в гнезде, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, но все же мороз пробирался под перья, шарил по телу, захлаживал ноги, около клюва и спину. А блуждающий свет луны тревожил, напоминал, будто вся земля состоит из одного огромного волчьего глаза и поэтому светится так страшно.

И птицы не спали.

Они тяжело ворочались в гнезде, меняли места, и большие глаза их были кругло открыты, светясь в свою очередь зеленовато. Наверное, если бы они умели думать, они больше всего хотели бы утра.

Еще за час до рассвета, когда уходила луна и едва-едва подходил свет, птицы начинали уже чувствовать голод: во рту был неприятный, желчноватый привкус, и от времени до времени больно сжимался зоб.

И когда утро уже окончательно серело, самец улетал за добычей, летел медленно, раскинув широко крылья и редко взмахивая ими, зорко вглядываясь в землю перед собою. Охотился он обыкновенно за зайцами. Иногда добычи не встречалось долго, он летал над оврагом, залетал очень далеко от гнезда, на десяток верст, вылетал из оврага к широкому белому пространству, где летом была Кама. Когда зайцев не было, он бросался и на молодых лисиц, и на сорок, хотя мясо их и было невкусно. Лисицы защищались долго и упорно, сильно кусаясь, и на них надо было нападать осторожно и умело: надо было сразу ударить клювом в шею, около головы, и сейчас же, вцепившись ногтями в спину, взлететь на воздух, — в воздухе лисица уже не сопротивлялась.

С добычей самец летел к себе в овраг, в гнездо, и здесь с самкой они съедали все сразу. Если они один раз в день

и наедались так, что было тяжело двигаться и зоб тянуло вниз. Подъедали даже снег, замоченный кровью. А оставшиеся кости самка сбрасывала под обрыв.

Самец садился на лапу корня, ежился и хохлился, чтобы было удобнее, и чувствовал, как тепло, после еды, бегающей в нем крови, переливается нечто в кишках, доставляя наслаждение.

Самка сидела в гнезде.

Перед вечером самец неизвестно почему ухал:

— У-гу-у! — кричал он гортанным голосом так, будто звук в горле его проходил через воду.

Иногда его, одиноко сидящего наверху, замечали волки, и какой-нибудь изголодавшийся волк начинал карабкаться по отвесу вверх.

Самка волновалась и испуганно всклекотывала, а самец спокойно глядел вниз своими широкими подслеповатыми глазами, следил за волком, — как волк, медленно карабкаясь, срывался и стремительно летел вниз, сметая собой комья снега, кувыряясь и повизгивая от боли.

Подползали сумерки.

IV

В марте, когда вырастали дни, начинало греть солнце, бурел и таял снег, долго зеленели сумерки и ходили стаями волки, добычи было больше, потому что все лесные жители чуяли уже тревогу пред-весны, томящую и зачаровывающую, бродили полянами, откосами и лесом, не смея не бродить, безвольные в власти предвесенней тьмы; и их легко было ловить.

Всю добычу самец приносил самке, сам он ел мало: только то, что оставляла ему самка, — обыкновенно это были внутренности, мясо грудных мышц, шкура и голова, хотя у головы самка всегда съедала глаза, как самое вкусное.

Днем самец сидел на лапе корня.

Светило солнце. Слабый и мягкий шел ветерок. На дне оврага шумел сильно черный и поспешный теперь ключ, резко вычерченный белыми берегами снега.

Было голодно. Самец сидел с закрытыми глазами, втянув голову в плечи. И в его наружности было много покорности, истомного ожидания и смешной какой-то виновности, так не вяжущейся с его суровостью.

В сумерки он оживлялся. В него входила тревога.

Он поднимался на ногах, вытягивал голову, широко раскрыв круглые свои глаза, раскидывал крылья и снова складывал их, бил ими воздух. Потом, снова сжимаясь в комок, втягивая голову, жмурясь, ухал:

— У-гу-гу-у! — кричал он жутко, пугая лесных жителей.

И эхо в овраге отвечало:

— У-у...

Были зелено-синие сумерки. Небо вымащивалось крупными, будто новыми, звездами.

Шел маслянистый запах сосен. В овраге стихал на ночь, в морозе, ручей. Где-то на токах кричали птицы. Но все же было настороженно-тихо.

Когда темнело окончательно и ночь становилась синей, самец, крадучись, виновато, осторожно расставляя большие свои, не умеющие ходить по земле ноги, шел в гнездо к самке. Его тянуло к ней большая прекрасная страсть.

Он садился рядом с самкой, гладил клювом ее перья; и все попрежнему была в нем смешная немного и нелепая для него виновность.

Самка была доверчива к его ласкам, казалась слабой и мягкой очень; но за этой мягкостью чуялась большая ее сила и власть над самцом; быть может, даже в этой мягкости чуялась она.

На своем языке, языке инстинкта, самка говорила самцу:

— Да. Можно.

И самец бросался к ней, весь изнемогая в страсти. И она отдавалась ему.

V.

Так было с неделю, с полторы.

Потом же, когда ночью приходил к ней самец, она говорила:

— Нет. Довольно.

Говорила она, инстинктом своим чувствуя, что довольно, ибо пришла другая пора — пора рождения детей.

И самец смущенный, будто виноватый тем, что не предугадал веления самки, веления инстинкта, вложенного в самку, уходил от нее, чтобы прийти через год.

VI

И с весны все лето до сентября они, самец и самка, были поглощены большим, прекрасным и необходимым делом рождения, — до сентября, когда улетаели птенцы.

Многоцветным ковром развевались весна и лето. Горячими огнями горели они. Сосны украсились свечками и маслянисто пахли. Полыни пахли. Цвели и отцветали: свирбига, цикорий, колокольчики, лютики, рябинки, иван-да-марья, чертополохи колючились.

В мае ночи были синими.

В июне — зеленовато-белыми.

Алым пламенем пожара горели зори, а от ночи по дну оврага белыми, серебряными пластами, стирая очертания сосен, шли туманы.

Сначала в гнезде было пять серых, с зелеными крапинками яиц. Потом появились птенцы: большеголовые,

с чрезмерно большими и желтыми ртами, покрытые серым пухом. Они жалобно пищали, вытягивая длинные шеи из гнезда, и много очень ели.

В июне они уже летали, все еще головастые, плакающие, нелепо дергая неумелыми крыльями.

Самка была все время с ними, заботливая, нахохленная и сварливая.

Самец не умел думать и едва ли чувствовал это, но чувствовалось в нем, что он горд у своего прямого дела, которое вершит с великой радостью. И вся жизнь его была заполнена инстинктом, переносящим всю волю его и жизнеощущение на птенцов.

Он рыскал за добычей.

Надо было ее очень много добывать, потому что и птенцы, и самка были прожорливы. Приходилось летать далеко, иногда на Каму, чтобы там ловить чаек, всегда роящихся около необыкновенно больших, белых, неведомых и многоглазых зверей, идущих по воде, странно шумящих и пахнущих так же, как лесные пожары, — около пароходов.

Он сам кормил птенцов. Разрывал куски мяса и давал им. И наблюдал внимательно своими круглыми глазами, как птенцы хватили эти куски целиком, широко раскрывая клювы, давились ими и, тараща глаза, покачиваясь от напряжения, глотали.

Иногда кто-нибудь из птенцов, по глупости, вываливался из гнезда под откос. Тогда самец поспешно и заботливо летел вниз за ним, хлопотливо клекотал, будто ворчал; брал его осторожно и неумело когтями и приносил, испуганного и недоумевающего, обратно в гнездо. А в гнезде долго гладил его перья своим большим клювом, ходил вокруг него, из осторожности высоко поднимая ноги, и не переставал клекотать озабоченно.

Ночами он не спал.

Он сидел на лапе корня, зорко вглядываясь во мглу ночи, остерегая своих птенцов и мать их от опасности.

Над ним были звезды.

И он иногда, чуя полноту жизни, красоту ее, — казалось так, — грозно и жутко ухал, встряхивая эхо.

— У-гу-гу-гу-у! — кричал он, пугая ночь.

VII

Он жил зимы, чтобы жить. Весны и лето он жил, чтобы родить. Он не умел думать. Он делал это потому, что так велел бог, так велел тот инстинкт, который правил им.

Зимами он жил, чтобы есть, чтобы не умереть. Зимы были холодны и страшны.

Веснами же — он родил.

И тогда по жилам его текла горячая кровь, было тихо, светило солнце и горели звезды, и ему все время хотелось потянуться, закрыть глаза, бить крыльями воздух и ухать беспричинно радостно.

VIII

Осенью улетали птенцы. Старики с молодыми прощались навсегда, и прощались уже безразлично.

Осенью шли дожди, волоклись туманы, низко спускалось небо. Ночи были тоскливы, мокры, черны. Старики сидели в мокром гнезде, двое, трудно засыпая, мерзнув, тяжело ворочаясь. И глаза их светились зеленовато-желтыми огоньками.

Самец уже не ухал.

IX

Так было тринадцать лет их жизни.

X

Потом самец умер.

В молодости у него было испорчено крыло, с тех пор, как он дрался за самку. С годами ему все труднее и труд-

нее было охотиться за добычей, все дальше и дальше летал он за ней, а ночами не мог уснуть, чуя большую, нудную боль во всем крыле, было страшно очень, ибо раньше он не чувствовал своего крыла, а теперь оно стало странно важным и мучительным.

Ночами он не спал, свешивал крыло, будто отталкивал от себя. А утрами, едва владея им, он улетал за добычей.

И самка бросила его.

Пред-весной, в сумерки, она улетела из гнезда.

Самец искал ее всю ночь и на заре лишь нашел, — она была с другим самцом, молодым и сильным, нежно выклевывающим около нее. И тогда старик почувствовал, что все, данное ему в жизни, кончено. Он бросился драться с молодым, но дрался неуверенно и слабо. А молодой кинулся к нему сильно и страстно, рвал его тело и грозно клекотал. Самка же, как много лет назад, безразлично следила за схваткой.

Старик был побежден.

Окровавленный, изорванный, с вытекшим глазом, он улетел к себе в гнездо, тихо опустил на свою лапу корня. И чуялось в нем, что с жизнью счеты его кончены. Он жил, чтобы есть, чтобы родить. Теперь ему оставалось — умереть. Верно, он чувствовал это инстинктом, ибо два дня сидел тихо и неподвижно на обрыве, втянув голову в шею.

А потом, спокойно и незаметно для себя, умер. Упал под обрыв и лежал там с ногами, скрюченными и поднятыми вверх.

Это было ночью. Новыми были звезды. Кричали в лесах на токах птицы. Где-то ухали филины.

Самец пролежал пять дней на дне оврага. Он уже начал разлагаться и горьковато, скверно пахнул.

Его нашел волк и съел.

Кривякино,
июль 1915.

СМЕРТИ

I

Золотые дни «бабьего лета», казалось, установились надолго.

Солнце на синем пустынном небе, где курлыкают летящие на юг журавли, светит, но не греет, в тени за домом лежит иней. Воздух — синь чрезмерно и крепок своим бодрящим холодком, а тишина — черства. Колонны террасы, обвитые виноградником, аллеи из кленов и земля под ними сгорают в багрянце листопада. Озеро стоит синим, зеркально гладким, в нем отражается белая пристань, с лодкой, лебедями и статуями. В садах фрукты уже сняты, листья опали, здесь, в поредевших деревьях, после лета нелепо-пустынно.

В такие дни, от бодрящего холодка, от крепкого воздуха, настроение становится бодрым, здоровым и ровным. Спокойно думается о бывшем и будущем. Лень спешить куда-либо. Хочется ходить по опавшим листьям, а в садах — искать незамеченные, забытые яблоки и слушать курлыкающих, летящих на юг журавлей.

II

Ипполиту Ипполитовичу — сто лет без года и трех месяцев с днями. В Московском университете он учился вместе с Лермонтовым и дружил с ним, увлекаясь Байро-

ном. В шестидесяти годах, уже под пятьдесят, вместе с государем Александром, он обсуждал освободительные реформы, а дома зачитывался Писаревым.

Теперь только по огромному костяку, обтянутому пергаментной кожей, можно узнать, что когда-то был он велик очень, кряжист и широкоплеч, большое лицо все заросло длинными желтовато-белыми волосами, ползущими с носа, со скул, со лба, из ушей, но череп — лыс, глаза выцвели и белы, руки и ноги ссохлись и кажутся нарочито тонкими.

В его комнате пахнет воском и тем особым затхлым запахом, который имеется у каждой старой барской семьи. В большой комнате пусто: только массивный, красного дерева и с выцветшим зеленым сукном, письменный стол, заваленный старинными ненужными безделушками, вольгерово кресло и диван. Лепной потолок, стены крашены под мрамор зеленовато-белой краской, в виде дракона камин, полы из паркета карельской березы, стекла в окнах без гардин, закругленных вверху и с частым переплетом рам, выцвели, позеленели, и по ним разбегается радуга. В окна идут холодные, бодрые лучи осеннего солнца, ложатся на стол, на часть дивана, на пол.

Старик уже давно не может спать ночами, чтобы бодрствовать днем. Уже лет двадцать прошло, как про него верно можно сказать, что он почти все двадцать четыре часа суток спит, точно так же, как верно будет и то, что эти же сутки он бодрствует, — он всегда дремлет, лежа с полузакрытыми своими выцветшими глазами на большом облупившемся диване, обтянутом свиной кожей английской выделки и постланной медвежьей шкурой. Закинув правую руку за голову, он лежит дни и ночи. И если и ночью и днем окликнуть его:

— Ипполит Ипполитович! —
он всегда через полминуты сткликнется:

— Так?!

У него мыслей нет. Все, что есть кругом и было раньше в его жизни, ему безразлично, все изжито. Все изжито, и думать ему не о чем. У него нет и ощущений, ибо все органы восприятия отупели.

Ночью шумят мыши. В пустынном колонном зале, что лежит рядом, бегают и гулко шлепаются, падая с кресел и столов, крысы.

Старик не слышит.

III

Утром, в семь часов, приходит Василиса, Васена, баба лет тридцати семи, крепкая, здоровая, румяная, напоминающая июльский день своей цветистостью и ядреным здоровьем.

Она говорит покойно:

— Доброго утра вам, Ипполит Ипполитович.

И Ипполит Ипполитович отвечает голосом спетой граммофонной пластинки баса:

— Так?!

Васена деловито моет его губкой, кормит манной кашей. Старик сидит на диване, сторбившись, положив руки на колени. Ест медленно с ложечки. Молчат. Глаза старика смотрят куда-то внутрь, невидяще. В окно идет золотое, бодрое солнце, блестит в белых волосах старика.

— Сынок ваш приехал, Илья Ипполитович, — говорит Васена.

— Так?!

Ипполит Ипполитович женился на четвертом десятке лет, из трех его сыновей в живых остался один — Илья. Старик вспоминает своего сына, восстанавливает его образ и не чувствует ни радости, ни заботы — ничего. Где-то далеко затерялся длинный, расплывающийся образ сына, сначала ребенка, потом мальчика, юноши, а теперь

уже почти старика. Вспоминается, что когда-то, давно, этот образ был нужен и дорог, потом утерялся и теперь — безразличен.

И лишь по инерции старик переспрашивает:

— Приехал, говоришь?

— Да. Отдыхают теперь. Ночью приехали. Одни.

— Так?!. Меня приехал перед смертью посмотреть, — говорит старик.

Васена деловито откликается:

— Что же?! Ваши годочки не такие, чтобы...

И старик, и Васена спокойны.

Молчат.

Старик откидывается к спинке дивана и дремлет.

— Ипполит Ипполитович, вам надоть итти гулять.

— Так?!

Воздух «бабьего лета» синь и крепок... Где-то далеко наверху кричат журавли. Старик в чесучевой фуражке, надвинутой глубоко на лоб, в черном длинном пальто, сгорбившись, опираясь на бамбуковую трость с изображениями змей и поддерживаемый здоровой Васеной, ходит по кровавым листьям виноградника около белой террасы, залитой холодным солнцем.

IV

Иногда старик замирает на несколько часов. Из него уходит окончательно, так кажется, жизнь. Он лежит землисто-бледным, с помертвевшими губами, с глазами открытыми и стеклянными, почти не дыша. Тогда гонят лошадей за врачом, и врач впрыскивает камфару и делает искусственное дыхание, дает дышать кислородом. Старик оживает, медленно, бессмысленно поводя глазами. Врач сосредоточенно и важно говорит:

— Если бы еще одна минута, была бы смерть.

Когда старик отходит окончательно, Васена ему повествует:

— Так уж боялись, так уж боялись... Совсем, думали, умерли уж... Да ведь и то, — годочки ваши не такие, чтобы...

Ипполит Ипполитович слушает безразлично и молча, и лишь иногда, вдруг, нелепо, сожмуриваясь, щуря глаза и растягивая губы, смеется.

— Хгы! хгы! — смеется он и хитро добавляет: — Умру, говоришь? хгы! хгы!

V

Илья Ипполитович, сын, ходит по пустынным комнатам умирающего дома. Пыльно и затхло здесь, через мутные стекла идет солнце, в нем золотятся пылинки. Илья заходит в комнату, где прошло его детство. На подоконниках, на креслах, столах, на полу — везде насталась серая пыль. На полу видны свежие, редкие следы ботинок. На столе — нездешний — лежит тощий чемодан со многими наклейками железных дорог. Твердая затаившаяся тишина застыла в доме. Сын так же громоздок, как и отец, но он ходит еще очень прямо. Волосы уже поредели, на висках седеют, а лицо — по-молодому — брито. У губ уже серые морщинки. У него серые, большие и уставшие глаза.

У сына, Ильи Ипполитовича, сумрачно и тяжело на душе при мысли об отце, потому что дни его, отца, подсчитываются; и он тоскливо думает о нелепости смерти и о том, как держать себя с человеком, который обречен окончательно. Но ходит он в то же время — от угла до угла — бодро очень.

Отец и сын встречаются у террасы.

— Здравствуй, отец, — говорит бодро сын, нарочито беззаботно улыбаясь.

Отец, старик, сначала не узнает сына, смотрит безразлично, но потом улыбается, идет по ступенькам наверх и подставляет щеку для поцелуя, от щеки его пахнет воском.

— Так?! — говорит старик.

Сын целует его, крупно смеется, хлопая по плечу.

— Давно не видались, отец! Как живешь?

Отец смотрит на сына из-под козырька фуражки, улыбается бессильно и не сразу говорит:

— Так?!

Васена отвечает за старика:

— Уж какое житье их, Илья Ипполитович?.. Что ни день, то все боимся, — говорит она речитативом.

Илья Ипполитович бросает укоризненный взгляд Васене и говорит громко:

— Пустяки, отец! Ты еще сто лет проживешь!.. Ты устал, отец! Присядем вот сюда, отец. Потолкуем!..

Они садятся на мраморную ступень террасы.

И молчат.

Сын краснеет, напрягает мучительно мысли и не находит, что сказать.

— А я все картины пишу... За границу собираюсь... — говорит он.

Старик не слушает, смотрит невидяще и бессмысленно и вдруг спрашивает:

— Это ты приехал меня посмотреть? — умру скоро!..

Илья Ипполитович бледнеет пятнами и растерянно говорит:

— Что ты это, отец, как ты это?!

Но отец уже снова не слушает. Он откидывается к барьеру. Глаза его полузакрыты и стеклянны, лицо утеряло всякое выражение.

Он дремлет.

VI

Светит солнце, небо синее, в прозрачных даях над землею разлит хрусталь. Илья Ипполитович ходит по парку и думает об отце. У отца была большая, полная и богатая жизнь. Было так много хорошего, нужного и светлого. А теперь — смерть. И не останется ничего. Ничего! И это — и ч е г о — Илье Ипполитовичу кажется ужасным. Ведь жизнь, свет, солнце, все, что есть кругом и внутри человека, человек познает через самого себя. Умрет человек — умрет для него мир. И он уже ничего, и ч е г о не будет ни сознать, ни чувствовать. Для чего же тогда жить, развиваться, работать, когда концом будет — ничто?.. Ведь в его, в отцовых, ста годах чуялась какая-то большая мудрость, и еще он был — отец.

Где-то, далеко в пустынной синеве, кричат журавли:

— Курлы, курлы-ы, — несется с пустынного неба от едва заметной черной стрелки, направленной к югу. Под ногами шуршат листья, красные и подернувшиеся инеем. Большое лицо Ильи Ипполитовича бледно. Устало и бессильно сложены серые морщинки у губ.

Он, Илья, целую жизнь прожил одиноким и одним в холодной мастерской, тяжело живя, среди картин и для картин. Для чего?

VII

Ипполит Ипполитович в большой и пустынной столовой, повязанный по-детски салфеткой, ест бульон и куриные котлеты: Васена кормит его с ложечки. Потом она отводит его в кабинет. Старик ложится на диван, закидывает руку под голову, дремлет с полуоткрытыми своими глазами.

К нему приходит Илья Ипполитович. Он опять нарочито-бодр, но в глазах, уже усталых, — тоскование.

А в его бритом лице, в сером английском костюме и желтых ботинках чувствуется почему-то большая, измотанная, запутанная душа, сейчас страдающая и хотящая скрыться.

Он садится у ног отца.

Отец долго ищет его глазами, говорит, точно граммофонная пластинка спетого баса:

— Так?!

— Давно не видались мы, отец! Хочется поговорить мне с тобой! Ведь как-никак, отец, а дорожке тебя нет ведь у меня никого, отец! Как живешь, отец? — говорит сын, бодро встряхивая седеющими кольцами волос.

Старик глядит невидящими глазами, — кажется, не слушает, — вскоре, жмурясь, хитро растягивая губы, открывая пустые свои челюсти, старик смеется и говорит:

— Хгы! хгы!.. — смеется он и бодро говорит: — Умру скоро! хгы!-хгы!

Но Илья уже не теряется так, как первый раз у террасы, и только быстро, очень тихо, почти шопотом, спрашивает:

— А разве не боишься?

— Нет! Хгы-хгы!..

— В бога веришь?

— Нет! Хгы!

И отец, и сын — молчат долго.

Старик опять улыбается хитро, поднимается на локте и говорит:

— Вот, — когда человек — спать хочет... дорожке всего — сон... так и умереть — захочешь... понимаешь? Когда устанешь...

Старик смолкает на минуту и потом смеется хитро...

— Хгы! хгы! Понимаешь?! — говорит он.

Илья смотрит на хитрое лицо отца, смотрит долго широко раскрытыми глазами, не шевелясь, и в него вселяется страх.

А старик уже дремлет.

VIII

День ушел. Осенне-синие сумерки застилают землю и смотрят в окна. В комнатах — синий дымок и шарят тени. За стенами мороз. Зеленая поднимается луна.

Ипполит Ипполитович лежит на своем диване, заложив правую руку за голову, с полузакрытыми глазами.

Он ни о чем не думает. И нет у него ощущений. То место, что он занимает, что занимает его тело, похоже на большой, темный, пустой ларь, в котором нет ничего. Где-то близко пробегают и шлепаются крысы: — старик не слышит. Шалая осенняя муха садится около глаза: — старик не мигает. От иссохших пальцев ног в иссохшие голени, в бедра, в живот, в грудь, к сердцу идет слабая, едва заметная, сладкая немота и замирает.

Уже вечер, в комнате уже темно, туман на фоне окон кажется густым и страшноватым. За окнами, где светит в хрустком морозце луна, — светлее, чем в комнате. Старик лежит, закинув руку за голову, с полузакрытыми, стекляннотусклыми глазами, лицо его, все заросшее белыми волосами и с лысым черепом, мертвенно.

Входит Васена, спокойная, крепкая, с широкими бедрами и ядреными грудями, свободно прикрытыми красной кофтой.

— Ипполит Ипполитович, кушать надо, — говорит она деловито.

Но Ипполит Ипполитович не откликается, не говорит своего обыкновенного — «Так?!»...

Скачут, взмывая лошадей, за врачом.

Врач щупает пульс, — подносит к губам зеркало. Вскоре сосредоточенно и важно говорит:

— Умер.

Васена у дверей, в красной своей кофте, немного похожая на зверя, спокойно откликается:

— Да как же, годочки его. Все помрем... Да уж что ему? Уж чего-чего не было в ихней жизни? Все было! — говорит она.

IX

Ночью, перед утром, проходят низкие пушистые облака. За ними идут тучи. Падает снег крупными, холодными, спокойными пушинками. —

«Бабе лето» умерло, но народилась другая земная радость — первая белая пороша, когда так весело бродить с ружьем по свежим звериным следам.

Кривякино,
август 1915.

РАССКАЗЫ О МОРЯХ И ГОРАХ

ВСЕГДА КОМАНДИРОВКА

I

Весь день провел на карьере, подкладывал фугасы и рвал известняк. Внизу, в лощине, лежал завод, дымилась трубы, к карьере и от него бегали, поскрипывая, вагонетки. Наверху, над обрывами, стояли мокрые сосны. Небо весь день было серым, сырым, дым из труб стлался по земле. Фугасы взрывались с рокотом и дымом.

Шел домой с штейгером Бицкой, уже упала осенняя темнота, и ярко горела турбинная. Инженерский поселок лежал по ту сторону, в расчищенном лесу, цементные постройки домиков стояли однообразно, горели, свистели голубые шары фонарей, кидая черные тени от сосновых ветвей и стволов. Кожаная куртка прилипла к спине, верно, так же она прилипла и у Бицки. Бицка говорил:

— Дома сейчас чайку, казетка, Александр Александрович, шена, — Бицка недавно женился.

А в доме инженера Александра Александровича Агренева было темно, в окна падал свет фонарей, и лишь в комнате жены сквозь плотно сдвинутые двери виднелся свет: любимая жена, одна на всю жизнь, — чужая. Раздевался, мылся, пошел дождь — зашумел по крыше, взял газету. Вошла горничная, сказала — чай готов.

Анна, высокая, тонкая, прекрасная, чужая, стояла у окна, спиной к нему с книгой; около, на подоконнике, стоял стакан, запотело стекло. Не повернувшись, сказала — наливай чаю.

Электричество горело ярко и холодно. Пахло клеем от свежих поделок. Не сказала больше ни слова, тонкие пальцы перебирали страницы, — читала етоя, склонив голову. Спросил:

— Ты уйдешь вечером, Анна?

— А? Нет, буду дома.

— Кто-нибудь придет?

— А? Нет, никто. А ты уйдешь?

— Не знаю, наверное. Завтра я еду в командировку, на неделю.

— А? Да, в командировку.

Остался, остался бы, говорил, говорил бы бесконечно много — обо всем: о том, что без личного невозможно, без любви нельзя, о своей любви и о тоскливых своих вечерах, — и тоже замолчал.

— Ася спит?

— Да, уже.

На столе, на холодной белой скатерти, в прямых складках — стоял никелевый чайник, одинокий стакан. Ровно щелкали часы.

«Не обманет, не изменит, не уйдет, — а чужая, чужая, — и мать».

II

Мрак окончательно укутал землю, фонари вырезывали в нем белые шары, дождь капал безнадежно, безнадежно ревел заводский гудок.

Шел по квадратным аллеям парка через парк, к клубу, не дошел, свернул к школе, пошел к Нине: вместе в маленьком городишке учились — и с тех пор, ибо любовь

одна, — он остался для нее навсегда — одним, единственным; металась по России, боролась с собою, с ветряными мельницами своей чести, — не смогла, сломилась, приехала, чтобы жить подле.

Шел темными коридорами школы, постучал.

— Войдите.

В маленькой комнате, у маленького столика — с книгой, одна, в сером платке, некрасивая, с щекой, покрасневшей от ладони, — и заметил с тоскою, что глаза ее углубились, засветились нежно, встала, кинула книгу.

— Ты, милый? Здравствуй. Дождик?

— Здравствуй. Пришел посидеть.

— Скинь пальто, хочешь чаю? — протянула обе руки, без слов говорила: — спасибо, спасибо.

— Как живешь?

— Устаю. Ничего. Очень устаю.

Ставила в игрушечной кухонке самовар, на столе, около тетрадей, раскладывала баночки с вареньем, усадила в единственное кресло, — суетилась, улыбалась, алела щека — не могла померкнуть — в том месте, что подпирала ладонь весь долгий вечер, — любящая, отдавшая все, от которой ничего не надо.

— Не надо... суетиться. Потолкуем... Сядь же.

Так нежно коснулась руки, стала рядом.

— Что, милый? — гладила руку, обжигалась касаниями. — Что, милый?

Иногда негодовала, ломала руки, говорила с ненавистью, туманились глаза в возмущении, иногда становилась на колени, молила и плакала, — но всегда была нежною, тою, от которой ничего не надо.

— Что, милый?..

— Устал. Ведь она, Анна, не любит. Не уйдет, не обманет, — не любит. Знаю, — любишь...

Дома стены, холодно. Штейгер Бицка, румяный, весь день шутит, в дождь. Подождет и стоит у шнура. Тридцать лет — пять десятых жизни — половина — десять двадцатых. Холостой патрон. Нету ласки. Без личного невозможно.

Показалось — потухла лампа, на глаза легло теплое: ладони. Сначала слова были тихи, потом безумны.

— Уйди, уйди, милый. Иди ко мне, ко мне, — пусть не любишь, — я люблю, люблю...

Промолчал.

— Молчишь? Все отдам, все будет. Отдай мне ребенка. Бедь она — она мертвая. Ей ничего не надо. Слышишь? — Отдай... Все страданья возьму себе...

Опять вспыхнула лампа, — серенький человеческий комочек упал на узкую девичью кровать.

Мрак стал так, что не было видно в двух шагах. Около барачков горланили рабочие и пиликала гармоника. Кто-то свистел во мраке в два пальца, озорно и нелепо гогоча. Фонари попрежнему вырезывали белые круги. Шел, освещая дорогу карманным фонариком, машинально выбирая дорогу, и рядом во мраке, по лужам, спешила за ним Нина. Сосны шумели глухо, и было дико и страшно. Говорил, не думая, что говорит, думал вслух:

— Тебя, Нина, не люблю. Мне от тебя ничего не надо. Анна. Анне — приказал отец. Старая кровь. Анна сказала — никогда не полюбит. Ася растет у нее — люблю ее, дочку мою, — смотрит на меня пустыми глазами, чужая — тоже чужая — моя дочь. Я украд ее мать, — украд ее от небытия. Приду домой и лягу один. Или пойду к Анне, и она примет меня с сжатыми губами. От тебя дочери — не хочу. Зачем?.. Завтра то же, что и вчера.

Уже на инженерском поселке, около дома, вспомнил о Нине, заботился:

— Простудитесь, голубушка, и страшно возвращаться...

Постоял против нее, помолчал, протянул руку.

— Ну, всего хорошего.

Прошла мимо ватага парней, кто-то осветил фонарем.

— Ай-да училка. С инженерами. Го-го-го... — загоготали, запели враз похабную частушку:

Подавали девки в суд
Земскому начальнику... Э!!

III

Пред сном раскладывал пасьянс, ел холодный ужин, у Анны был свет, долго стоял у ее двери, постучал. — «Войдите». — Зашел на минутку: сидела у столика, с книгой, книгу положила на раскрытую тетрадь-дневник. Когда, когда он узнает, что там?

— Завтра с ранним уезжаю в Москву в командировку. Вот, пожалуйста, возьми денег на хозяйство.

— Спасибо. Когда приедешь?

— Через неделю, — стало быть в пятницу, на той неделе. Ничего не надо?

— Нет. Спасибо, — встала, подошла, поцеловала щеку около губ. — Всего хорошего, прощай. Асю не беспокой.

И опустилась к столу, спиной, взяла книгу.

На рассвете подали лошадь, ехал с Бицкой по шоссе на пассажирскую, было сыро; в дожде, мраке, черные, торопились ко второму гудку рабочие, обогнало на автомобиле начальство, и сейчас же заревел гудок. Бицка, в котелке, с редкими латышскими усиками, румяный, смотрел кругом строго.

— Не выспались, Роберт Эдуардович?

— Нет, не то. У меня плохая настроение, — помолчал. — Мне сорок лет, а мой шена — восемнадцать. Мне надо шена серьезная, песмолфная, хосьяйка. Она фсе шутит и тянет меня са узы, и смеется. Прафда, не выпался. Тала мерку к новым патинки... Ерунта... — и улыбнулся узкими своими хитрыми глазками. — Шеншина!..

ВОЛЧИЙ ОВРАГ

I

Агренив в детстве, ребенком, слышал из разговора матери о том, что вот Нина Каллистратовна Замоткина е дочерью ходила сегодня утром в девять часов — к фельдшерике Часовниковой на квартиру давать пощечину Часовниковой, которая разбила семейный очаг, потому что у ней была связь с Павлом Александровичем Замоткиным, мужем Нины Каллистратовны. Тогда Агрениву-ребенку ярко представилось, как Нина Каллистратовна за руку с дочерью и с ридикиольчиком в другой руке — идет; походка, конечно, необыкновенна, раз идут на квартиру давать пощечину, — надо было, должно быть, итти впрысядку или раскорякой, что ли, семейным же очагом было нечто вроде маньчжурки, обязательно железное, раз идут за него давать пощечину; и чрезвычайно любопытно, как Нина Каллистратовна придет на квартиру, размахнется рукой и — даст; и походка, и квартира, и руки, — все имело для ребенка сокровенный смысл, чрезвычайно любопытный.

Это осталось в воспоминаниях от детства, от маленького городка, провинции, где все было необыкновенно, как детство. Здесь, в Волчьем овраге, вспомнил это Агренив — и затосковал. Никто, никогда не пойдет

давать за него пощечин. Какое варварство — пощечины, и нет никакого решения — в пощечинах. Была осень, и, когда стоял в овраге и ждал Ольгу, низко над головой пролетели журавли, выстраиваясь в стрелку и курлыкая нестройно. Потом с горизонта на востоке небо стало наливаться свинцом, небо стало зимним, и над головой вспыхнула голубая Вега. Ольга пришла неожиданно, опоздав, сразу — вся с головы до ног — став на обрыве оврага, чтобы опуститься к Агрениву в овраг — в овраг.

II

Александр Александрович Агренив, семейный человек, инженер-металлург, и Ольга Андреевна Головкина, учительница — девушка, живущая с тетей, окончившая восемь классов гимназии. Ее все звали Оля Головкина, и это было неправильно, потому что она носила древнюю русскую фамилию, славную еще Петром Первым и сенатором Головкиным. Но тогда еще, при Петре Первом, эта фамилия соскочила в низы, чтобы оставить в этом городе Головкинскую улицу и дом на Головкинской, сдачей внаймы которого жила тетя. Агренив знал, что тетя — имени ее Агренив не знал — старая дева, имела одну радость, Олю, что тетя вечерами сидела у окна без лампы, поджидая Олю, и Оля поэтому, возвращаясь со свиданий, обходила квартал, чтоб замести следы. О тете никогда не говорилось прямо, лишь вскользь упоминалось слово, как вещь, — тетя. Оля же была милой девушкой, о которой трудно говорить, очень похожей на ивовую лозинку, такую хорошую провинциалочку. Город разметался по холмикам среди полей и древних каменоломен, всей энергией своей город истекал в завод на том конце, — и случайный разговор, бывший весной в начале знакомства между Агренивым

и Олей, — был в стиле и города, и Оли. Агренов сказал к чему-то:

— Бальмонт, Блок, Брюсов, Сологуб...

Оля перебила его поспешно, милая лозинка:

— Я вообще иностранных писателей мало знаю...

В городе, ни в гимназии, ни в библиотеке, ни в журналах не знали ни о Бальмонте, ни о Блоке, — но Оля любила декламировать на память Козлова и говорила по-французски. Завод жил темной, нехорошей, трескотной жизнью, нищенки — рваной снизу и непривычно роскошной сверху, — и завод пугал городок с его Головкинскими, Загорными, Спасскими улицами, городок жил среди полей, придавленный заводом и все же живущий своею какою-то жизнью.

За городом, в противоположной стороне от завода, в мраке лежал овраг, который назывался Волчьим оврагом. Правее, к реке, была роща, куда ходили гулять парами. В овраг никто не ходил, потому что он был совсем непоэтичен, без деревьев, скучен, неглубок и нестрашен. Но он шел по холму, господствовал над окрестностью, и если лежать в канавке у его верха, видно все кругом на версту, а лежащие — сокрыты: Александр Александрович Агренов был семейным человеком. А мальчишки-пастухи, которые пасли на лугу стадо, заметили, как каждый вечер летом с большака на велосипеде сворачивал в овраг мужчина, а потом, мимо них, проходила тоже в овраг девушка, спешащая, как гонимая ветром лозинка: мальчишки, как подобает мальчишкам, кричали вслед девушке всякую мерзость.

Оля все лето просила Агренова привезти ей книг, почитать, — как она не заметила, что за все лето ни разу книг не привозил он ей.

III

Потом был вечер, уже в сентябре, после того как несколько дней шли дожди, и они не встречались, — когда случилось все, что должно было случиться, что бывает у каждой девушки раз в жизни. Они встречались всегда в восемь, и восемь в июне идут совсем не так, как в сентябре. Дожди прошли, но остался холодный, осенний, опустошающий ветер, и вечер грузился свинцовыми тучами, холодом, неудобом. В тот вечер летели на юг журавли, курлыкая в небе. Трава в овраге пожелтела и пожухла. Днем было солнце, и Оля пришла в белом платье. Пастухи, карауля стадо, кричали всякую мерзость. Обыкновенно они, Агренов и Оля, оставались здесь же в овраге. В тот вечер, поистине черный, Агренов провожал Олю до дома, и оба они были заняты только одной мыслью: — о тете, — что тетя сидит у окна без лампы и ждет Олю, или она зажгла уже лампу и готовит ужин? — Оле надо было во что бы то ни стало, чтоб тетя сидела у окна без лампы, чтобы можно было в темноте пройти в свою комнату, так как Оле надо было секретно от тети переодеться. Они, Оля и Агренов, шли даже не под-руку, а тесно — рядом, склонив друг к другу головы и шепчась — только о тете. Оля не могла думать ни о боли, ни о радости, ни о страдании, — она думала о том лишь, как пройти, чтоб не заметила тетя. А Агренову было скучно, жутко и тоскливо от мысли о скандале. — И у тети в окне был свет, и Оля Головкина затрепетала, как лозинка, от света в окне, прошептав хрипло, как крикнув:

— Я не пойду!..

Но все же она пошла домой, лозинка, гонимая ветром. Агренов условился с ней встретить ее наутро в завод-

ской конторе, чтобы узнать, — в сущности, о тете, как тетя, минул или нет скандал.

В овраге, когда Оля, отдавшая все, плакала и прижималась к его коленам, в черной ночи совсем над головой, даже слышен был шелест крыльев, пролетели на юг дикие гуси, гогоча, встревоженные его папиромой, десятой под-ряд, — и защемило: «на юг, гуси, на юг!.. ты же никуда не уйдешь, раб, ненужный с ненужными», и вспомнилась та пощечина, которую ходила давать за мужа Нина Каллистратовна и которую никто не даст за него — Оле Головкиной. «Оля ненужное, случайное бремя!» Тогда в тот вечер от Головкинской улицы через весь город и потом по заводу, на инженерский поселок, проезжая на велосипеде кратчайшим путем, ибо за ночным мраком не надо было прятаться, Агренов думал не об Ольге, а о тете: о том, что она, старая дева, что у нее одно — Оля, и Оля скроет от нее свою трагедию, что она, тетя, целыми вечерами — целыми вечерами сидит у окна, одна, без лампы, — конечно, не для Оли, а потому, что всю жизнь она у м и р а е т, как умирает город, где знают Козлова, как умирает он, Агренов, как умерла девушка — Оля. Как сильна жизнь! Какая трагедия в этих вечерах без огня, у окна!

IV

Дома у Агренова горничная каждое утро приносила ему в кабинет на подносе уже остывший кофе. Агренов уходил на завод, когда все еще спали. На заводе были драные рабочие, всячески — нищие до последней степени, остроты Бицки, лязг вагонеток, — на заводе был: завод, именем своим определяющий все. В обеденный перерыв Агренов приходил домой, мылся и слышал, как за стеной жена — белая Анна — гремит ложками.

И это — вся жизнь. Чрезвычайно любопытно, как Нина Каллистратовна придет на квартиру, размахнется рукой (какой рукой, — той, в которой ридикюльчик, или предвзвительно переложит ридикюль в другую руку?) и даст пощечину фельдшернице Часовниковой. Оля — милая Оля Головкина, от которой, как от всех, ничего не надо!

В тот вечер тогда пришла дочь, Ася, сделала книксен и сказала:

— Покойной ночи, папá.

Агренов задержал ее, посадил на колени, — любимую, единственную.

— Что же ты делала, Асинька?

— А когда ты уезжал в поле к Головкиной, мы с мамой играли в бегающую игру.

V

Утром в контору — якобы по делу — Оля пришла такая же, как всегда. И Оля радостно сказала:

— Тетя ничего не узнала. Она мне отперла без лампы и замешкалась в коридоре, и я проскочила мимо нее поскорее. Потом переделась и вышла к ужину, как ни в чем не бывало!

Гонимая ветром лозинка!

В конторе звонили телефоны, было утро, целкали на счетах. В кабинете они были вдвоем, уговаривались, как встретиться вновь. Оля не хотела идти в овраг, потому что мальчишки говорят гадости. Агренов не сказал ей, что дома у него все известно. Прощаясь, она прижалась к нему, как лозинка в ветре, и прошептала:

— А я сегодня не спала всю ночь. Ты заметил, я никак не называю тебя — у меня нет для тебя имени.

И просила, чтобы он захватил — не забыл! — книг.

Город лежал на пересечении таких-то широты и долготы. О городе ничего не знали. О заводе же печаталось

каждый год в промышленных ежегодниках и изредка в газетах, когда бастовали рабочие или заваливало рабочих известняком. Завод был акционерной компанией, Агренов писал отчеты по своему отделу, отчеты тоже печатались, чтобы их никто не читал, и там стояло: «Инженер А. А. Агренов». Оля же Головкина писала только ведомости и дневник, в ведомостях по своему отделению в начальной школе, против фамилий учеников она ставила баллы.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ

Утром мама встала такой же, как всегда за эти бесконечно долгие месяцы: я привыкла звать мамой — мать Александра. На ней черное платье и в руках белый большой платок, который она так часто подносит к губам.

В столовой было светло. На столе чинно стоял чайный сервиз, и из самовара шел пар. Я уже привыкла, что столовая все время напоминает, будто мы уезжаем на дачу. Это происходит оттого, что сняты все картины, завешено висевшее здесь случайно зеркало.

Я обыкновенно встаю очень рано, моюсь и сейчас же берусь за газеты. Я раньше почти никогда не думала о газетах, и они для меня были совсем безразличны, но теперь я не представляю без них жизни. К чаю я уже знакома со всем, что делается в мире, и рассказываю маме: мама не может читать газет.

Мама выходит из своей комнаты, бывшей Александра, высокая, вся в черном, и в ней какая-то строгость. Это все так, как должно быть. Она крестит меня, целует в лоб и губы и, как всегда, отворачивается быстро и подносит платок к губам. Я знаю, она вспоминает, что Юрий убит, а Александр — т а м... и что я одна, ее, осталась с ней.

За чаем мы всегда молчим, мы вообще молчим, и только один вопрос она задает:

— Что в газетах? — и эту фразу она говорит всегда хриплым голосом. И я, очень волнуясь и бестолково, рассказываю ей все.

После чаю до двенадцати я хожу около окон, вижу все прежний завод и поджидаю почтальона.

И так, за почтой, газетами, горем матери и моим, — проходят дни за днями. И всегда, когда я жду писем, я вспоминаю маленький эпизод войны, переданный мне на эвакуационном пункте раненым прапорщиком. Он был легко ранен в голову, но я уверена, что он был психически ненормален или неврастеник. Он лежал на носилках, смуглый, с черными глазами и с белой повязкой. Я его поила, но он не пил чаю, отставляя кружку и держа меня за руку, говорил:

— Вы знаете, что такое — война? — Не смеете, не можете знать?.. А я знаю. Все знают, кто там были!.. Шли мы в штыки, понимаете? — в штыки, то есть резать, колоть, кромсать друг друга, человек. В нас пулеметом стреляли. Ну, вот, шел рядом со мной рядовой Кузьмин, и в него сразу две пули попали. Он упал и, уже ничего не соображая, забыв, что я их офицер, как-никак, протянул ко мне руки и закричал: «Землячо-ок, — приколи!» — Понимаете?! — «Землячо-ок, — приколи!» И вам не понять — не смеете!

Он говорил это то шопотом, то крича.

Он говорил, что этого нельзя понять мне. Но я понимаю... «Землячо-ок, — приколи!» — в этой фразе для меня слит весь ужас войны, и смерть Юрия, и рана Александра, и горе матери, и все, все, что дала война, — слит до боли в висках, до физического ощущения то-ски. — «Землячо-ок, — приколи», — как просто, нечеловечески.

Я эту фразу вспоминаю каждый день, особенно часто в зале, когда жду писем. Александр пишет редко и сухо, о том, что здоров, и опасностей или нет, или они миновали; он пишет всем сразу — маме, мне и Асе.

Так было и сегодня, я ждала писем.

Пришел почтальон, принес несколько писем, и одно из них — от Александра. Я его вскрыла не первым, поджидая маму.

Вот оно:

«Родная Анна!

Вчера и сегодня — прорвало — тоскую и думаю о тебе, только о тебе. Когда живешь покойно, без передряг, тогда не замечаешь много хорошего, — это я говорю о тех цветах, что посылаю тебе. Они растут как раз у окопа, а достать их страшно трудно, потому что можно быть убитым. Так я цветы эти и раньше видел, но как называются они, не знаю и очень обидно.

Прощай. Люблю тебя. Прости за «армейский» стиль. Это письмо только тебе».

В письме были две фиалки, две маленьких голубых фиалки, которые растут сейчас же после снега.

Я дала — все же дала — прочесть это письмо маме — е го матери, и у мамы задрожали губы и потекли слезы. Она заплакала, но и в слезах смеялась. И мы обе, я — молодая и мама — старая, мы обе плакали и смеялись одновременно, тесно прижавшись друг к другу. Я раньше представляла войну фразой — «Землячок, — приколи». А теперь у меня оттуда — от Александра — фиалки, две фиалки, которые еще не завяли.

Я замечала раньше, что весна, лето, осень, зима в человеческом сознании приходят как-то сразу. Помню в детстве, на даче. Все еще лето, все как всегда, но вдруг

утром подул самый обыкновенный ветер, бросились в глаза красные листья виноградника, — которые уже появились недели три, — и вдруг сразу чувствуешь, что осень, сразу меняется настроение, и начинаешь собираться домой, в город.

Сколько лет я не видела ни осени, ни зимы, ни весны, — не чувствовала их?

А сегодня я сразу — после давно-давно ушедшего лета почувствовала весну.

Я только сегодня заметила, что окна у нас замазаны, что на мне черное платье, что уже май, что уже в полях цветут колокольчики. Я забыла, что я молодая: сегодня я помню это.

И еще я знаю, что верю, люблю — давно люблю — Шурика, Александра. И я знаю — пусть много ужаса, много нелепого и безобразного, но есть еще прекрасная молодость, и любовь, и весна, и голубые фиалки, растущие на окопах.

Мы с мамой плакали и смеялись, вдвоем, тесно сжавшись на диване. Потом я одна ушла в поле за завод — любить, думать, мечтать... Я люблю Александра — на всю жизнь, навсегда...

МОРЯ И ГОРЫ

I

Окопы — совсем не там в Литве, в Полесьи: в дождливую ночь на Виндаво-Рыбинском, в поезде, как окоп, — окопы в самой Москве. Рядом в соседнем купе говорят:

— А вы какой части? — «Да-да, как же! помните, там еще овраг, весь в валунах, и озеро внизу, много в этом озере народу уплыло в царствие небесное». — «Командир третьей дивизии, позвольте представиться».

— Братушка, дай закурить пожалуйста. Из побывки мы.

Поезду идти в ночь на Ржев, на Великие Луки, на Полоцк. Вон братва забилась под скамью, пьет чай, очень довольна. За окном газовые фонари, в дожде — Виндаво-Рыбинского, и глаза у женщин под дождем под окнами, — как фонари в дожде. Пахнет нафталином. — «Где вагон коменданта?» — Женщинам в вагон — нельзя, — тут на войне — одни мужчины, и пахнет уже кожей, дегтем и портянками, мужской запах.

— Да-да, да-да, хо-хи! Врет, вре-от. Нет-с, красавица, такого человека, который шел бы в атаку не сумасшедшим! — хохочет и говорит басом, очень довольно.

Третий звонок. — «Где вагон коменданта?» — «Что же, прощай!» — «Хо-хо-хо-хо! Вре-от, вре-от-с, сударыня». — «Мозоль я себе натер, буцы новые выдали, вот и натер обратно», — это из-под лавки и на лесенке, по которой взбираются на верхнюю полку, повесили новые портянки, со свежими казенными ярлыками и все же пропахнувшие уже потом. Сдвинулись лакфиолевые фонари по дебаркадеру в ночь, сползли женщины и носильщики, козырнул дежурный, дождь стал косым, в смене стрелок ночь стала тихой.

Ночью в дожде во Ржеве через окно лазили за чаем, в окно налезли отставшие с винтовками, поезд гремел манерками. Дождь хлещет, как веник в бане. В коридоре братва недовольна проверкой документов. Под лавкой беседуют, военные пустяки.

А утро — в розовых облаках, — с деревьев капаят капли, дождь прошел, светло, благоуханно. Великие Луки, Ловать, на станции кофе и солдаты, нет женщин... Поезд обходит контрразведка. Солдаты, солдаты, солдаты, — винтовки, винтовки — манерки: братва. И это уже не Великороссия, кругом еловые леса, холмы, озера, и

Всюду на земле навалены круглые точеные камни, валуны, — а на станциях из-под елей выползают молчаливые люди, летом в овчинных тулупах и шапках, и босиком: литва. Контрразведка — как развлечение, длинный-длинный пустой день, как праздник, и все уже знакомо: какой части, сколько ранен, в каких боях. В Великих Луках многие сошли, — нет новых. Весь день тихо и празднично.

А к ночи — Полоцк, белые стены монастыря ушли назад, Двина, прогремели по мосту. Здесь ездят уже только ночью, без расписания, без огней, и опять мелкий дождичек. Без свистков останавливается поезд, без свистков идет, и кругом тихо, как в октябре, над землей же — ночь. С Полоцка на каждой остановке только слезают, никто не садится вновь, от каждой остановки по декавыльке до окопов тридцать верст. Такая усталость — после Москвы, слов, проводов, после бесконечного дня! Едва-едва светает, небо как бутылка из зеленого стекла, там сзади, на востоке.

— Вставайте, приехали.

Станция Будслав, крыша у станции съедена бомбой с аэроплана. На асфальте перрона, под кротегусами, в садике спят вповалку солдаты, книжная лавка к приезде поезда открыта, стоит заспанный еврей: Чириков, фон-Визин, Вербицкая. И где-то в отдалении, почему-то так четко слышно, как хлопают руками в рукавицах. — «Что такое?» — «Это долбит тяжелая артиллерия». — «Где комендант, где тут комендант?» — «Спит комендант»...

II

Неделя проходит в окопах, идет другая.

Надо было бы записать все в первый день: теперь все сгладилось, вот это, что там на луговине на проволоке

висит человек и у него постепенно отваливается голова. Впрочем, я мало вижу. Днем мы спим. Почти нет ночей — июнь, о вечере я узнаю вот почему. Я живу в землянке, и когда приходит семь часов, минута в минуту, — оттуда, из-за болота, начинают обстреливать землянку: через каждую минуту шлют пулю — чик. Еще минута, и опять — чик. Выстрела не слышно за гулом остальных выстрелов, слышно, как пуля втирается в землю и бревна на крыше. И это всю ночь, до семи часов утра, минута в минуту. В землянке нас трое, они двое играют в шахматы, я все перечитал, мне надоело и лежать, и ходить, и спать. Жизнь человека чрезвычайно скудна, потому что в три дня — троим — можно все рассказать. Вчера прибежал солдат, ему в разведке оторвало кисть, он мотал огрызком руки и молил бестолково:

— Приколи, приколи-и, касатик!.

Иногда ночью мы выходим полюбоваться фейерверками. В землянку — это стреляют в нас, или чтоб нас нервировать, — втираются пули: чик! чик! чик! Мы стоим и любимся. Вдалеке тявкают орудия, и вот весь горизонт дрожит зеленым светом. Ракеты поднимаются непрерывно. Здесь были такие, какие пускали мы на Оке, были разрывающиеся на два медленные шара, были огромные диски, состоящие из сотни огней. Но ракеты исчезают, из-за леса ползут три световых пальца. Сначала они протянулись в небо, судорожно сжались и падают лихорадочно на нас, на окопы, вправо, влево. Наши гимнастерки в их свете кажутся белыми. В Полесьи на могилах ставят огромные деревянные кресты, большие, как у Гоголя в «Страшной мести»: сзади на холме стоят два креста, один скренился, повис на другом.

Все солдаты, солдаты, солдаты. Ни одного старика, ни одной женщины, ни одного ребенка. Ни одной жен-

щины я не вижу уже третью неделю. Вот о чем я хочу рассказать — о том, что значит — женщина.

На пункте, вне зоны обстрела, мы обедали, — и за фанерной стеной засмеялась сестра: я никогда не слышал лучшей музыки. Других слов я не нахожу: лучшей музыки. Это сестра пробиралась к госпиталю, ее платье, ее прическа — как ая радость! Она что-то говорила заведующему пунктом — я не знаю лучшей поэзии, чем ее слова. Все прекрасное, все красивое, все целомудренное, что есть во мне, что дала жизнь — женщина, женщина. Вот и все.

Вечером я пошел в штабный кинематограф, я сидел в ложе. Когда потушили электричество, я написал на барьере синим карандашом:

«Я — блондинка, 22 лет, с голубыми глазами. Но — кто же ты? Я жду?»

Я сделал жестокую вещь.

Это написал я, но у меня защемило сердце, я не мог сидеть в кинематографе. Я стал бродить меж скамеек, ушел на поселок, ходил вокруг костела, у которого не уцелело ни одного окна, и собрал букетик незабудок в канавке у кладбища. Когда я вернулся в кинематограф, я увидел, что в набитом кинематографе ложа была пуста: при мне вошел офицер, сел беззаботно, чтобы наслаждаться, прочел написанное мною — и стал другим человеком, я влил в него страшный яд, и он ушел из ложи. Я вышел за ним — он пошел к костелу. Я сделал жестокую вещь.

Это я написал о блондинке с голубыми глазами, — я шел и видел ее, и ждал ее, я, написавший. Во мне играли сотни оркестров, но сердце было сцемлено, точно его взяли в руки. Больше всего — больше всего во всем мире — я любил и ждал несуществую-

щую блондинку, которой я отдал бы все мое прекрасное.

Я не остался в кинематографе и поплелся в окопы. На холме стояли два громадных креста, я сел под ними и шептал, сжимая руки:

— Милая, милая, милая. Любимая, нежная. Я жду.

Там, вдалеке, взлетали зеленые ракеты, такие же, какие мы пускали над Окой. Потом забегали пальцы прожектора, моя гимнастерка стала белой, — и сейчас же около крестов упал снаряд: это заметили меня и стреляли по мне.

В землянку чикали пули: чик! — чик! — чик! Я лег на нары, зарылся головой в подушку. Мне было очень одиноко, и я шептал, вкладывая в слова всю нежность, какую имел:

— Милая, милая, милая...

III

Любовь.

Верить ли романтике, — что вот, через моря и горы и годы есть такая, необыкновенная, одна любовь, — всепобеждающая, всепокоряющая, всеобновляющая — любовь.

В штабном поезде, что стоял у Буделава и где жили штабные офицеры, знали, что такая любовь у поручика Агренева одна, на всю жизнь. Жене, женщине, девушке, любящей один раз, когда любовь — прекраснейшее и одно в жизни, — принять героические меры, пройти все штабы, все контр-разведки, чтобы пробраться к любимому, чтобы увидеть любимого, ибо — одно сердце, огромное, в мире, и больше ничего.

Купе поручика Агренева было в дальнем вагоне № 30—05.

Штабный поезд стоял за прикрытием. Огня зажигать не позволялось. По вечерам, занавешивая окна одеялами, собирались в вагоне командующего XX корпусом играть в железку и пить коньяк. Кто-то сострил, что между фронтом и мужским монастырем много сходства, и тут и там говорят только о женщинах, поэтому нет причин не посылать монахов на фронт для поста и молитвы.

Банк купил и держал ротмистр Кремнев. Вошел проводник пан Понятский и позвал ротмистра. Остальные остались за картами. Пан сказал ротмистру, что есть женщина, очень дорого. У ротмистра задрожали колени, он сел беспомощно на подножку и достал папиросу. Пан Понятский предостерег: нельзя зажигать огня. Пушки вдалеке гудели, точно приближалась ночная гроза. Ротмистр Кремнев никогда не испытывал большей радости, чем в эти минуты, когда сидел на подножке, — физической радости бытия, физиологической. Пан Понятский повторил, что это очень дорого, что она — ждет, медлить нельзя. Пан Понятский вел его вагонными коридорами, во мраке. В вагонах пахло мужчинами и кожей, за дверками громко смеялись, должно быть за картами. Так прошли пол-поезда. Когда переходили из вагона в вагон, вдалеке вспыхнула ракета, и в зеленой мути блеснул желтый номер вагона 30—05. Пан Понятский отпер своим ключом дверь купе и сказал:

— Здесь. Только, пожалуйста, тише.

Пан же замкнул ключ за ротмистром Кремневым. Это было офицерское купе, пахло духами, на скамейке, внизу, кто-то дышал. Ротмистр Кремнев скинул ту-журку и сел рядом. На диване спала женщина. У ротмистра закружилась, онемела голова, сердце и купе покатило, — ротмистр взял онемевшей рукой колено женщины. И тогда женщина протянулась, просыпаясь.

— Это ты, родной? — спросила женщина. — Вернулся?

— Да — я, — ответил ротмистр.

И вдруг женщина вдвинулась в угол дивана, беспомощно, раздетая, протянула вперед руки, обороняясь.

— Кто тут? Уйдите! Уйдите, ради бога!

— Что-о? Не ломай дурака!

Дверь приотворилась, в дверь втиснулась голова пана Понятского, прошептала:

— Не стесняйтесь, ваше-ст-во, она так... Только потише, — и исчезла.

Больше не было слов, потому что в ротмистре, как во всех, сидел еще тот человек, который выходил у станций из лесов, в овчине и босиком и который — «любил» женщину, глуша ее дубиной. Тогда, в купе, женщина бессильно сопротивлялась, и потому, что сопротивлялась, ему хотелось придушить ее, вдавить в подушки, еще больше насиловать, пока не постучал пан. Уходя, ротмистр засунул в чулок женщины две двадцатипятирублевки.

Любовь! Любовь через моря и горы и годы.

У пана был ключ, одинаковый для всех купе. Проводники проследили, что к поручику Агрневу пробралась женщина. Поручик на сутки был откомандирован в дивизию. Кто в темноте разберет, какой проводник отпер дверь и какой офицер насилдовал? Да и посмеет ли кричать женщина, раз она там, где нельзя ей быть, откуда ее просто выгонят, — и скажет — и скажет ли она об этом мужу — или любовнику? — разве знал Понятский о любви через моря и горы? — скажет ли она об этом мужу, другому мужчине?! — рассчитает, поди, обдумает, вымоется, — и никогда, никому не расскажет...

женщина... Почему не содрать лишнюю полсотню пану Понятскому?

Наутро в вагоне 30—05 нашли мертвую женщину.

IV

Третьего дня, вчера, сегодня, — бой, отступление. Штаб армии уехал в поезде, но штабные офицеры идут пешком. В каше человеческих тел, повозок, лошадей, пушек, ординарцев, извещений, приказов — ничего не разберешь. Пулеметного и винтовочного огня не слышно. Хлещет дождь. К вечеру кто-то сказал, проорал, что о с т а н о в и л и. Застряли в лесной сторожке. Ротмистр Кремнев в погребе нашел молоко и творог, — он, Агрнев, командующий дивизии, фендрики — пьют молоко. Братва разыскала в лесу корову, зарезала, жарит и ест. Все говорили, что надо лечь отдохнуть, — и не заметили, как пришел рассвет, — заметили же потому, что через сторожку загудели снаряды, завопила поблизости русская батарея. Дали приказ ити в контратаку. Потащились обратно, в дожде, неизвестно почему — Агрнев, Кремнев, братва.

Никола-на-Посадах, 1919.

ВЕЩИ

Над рекой, тихой и серебряной, стоял каменный город, кремль, соборы, каменные дома, улицы, замощенные огромными булыжинами. В закоулке, замыкая тупик, стоит дом, одноэтажный, белый, с охровыми двумя колоннами, с конями на бельведере; за домом сад — выродившийся в дичь, весь в черемухе и сирени. Дом внутри мал; по фасаду идут три комнаты, потолки в комнатах низки, стены толсты, полы в ковриках, у окон цветы. В средней комнате, где дверь ведет под колонны, стоит рояль.

Тридцать лет тому назад приехала сюда девушка, молодая, беззаботная и радостная беспричинно. Тридцать лет прошло. Булыжины перед домом, тогда только что выложенные, проросли травой, из винокуренного завода слева перестроили казармы, и там утром и вечером играли прозрачную зорю. По соседней улице прошел трамвай. Город расплзся по горе, заполз за реку. У реки, у железнодорожного моста, зафыркала вальцовая мельница. Тридцать лет прошло, и старой женщине, с седыми буклями, в черном платье, надо было уезжать, — уже навсегда.

Была весна, цвела сирень, отцветала черемуха, на откосе, в канавках, зацвели ландыши. Она хотела вспомнить прошлое. В доме не выставляли рам, было

по-зимнему; к Пасхе не убирались — откладывался отъезд со дня на день, — и на окнах лежала пыль. Вспоминала о том, что двадцати восьми лет начала изучать английский язык, а тридцати двух — музыку, тогда же купила рояль. Не сознавала ясно, — делала это затем, чтобы заполнить жизнь, чтобы, встав утром, знать свой день. Не изучила языка, не пошла в музыке дальше сонатинок «Черни». Тридцать лет тому назад, когда были подружки и милые секреты, и старая тетя вывозила на балы, — тогда несколько дней она была невестой, и тетка купила пружинную двухспальную кровать (только что входившую в моду), мраморный умывальник и будильник, играющий «Веверлея».

Ехать надо было через всю Россию, в такой же старый дом, в таком же старом кремле, ехать, чтобы там умереть. Мещанин, покупавший дом, в засаленном сюртуке, в лаковых сапогах и с хлыстом в руке, которым он тыкал в вещи и хлестал себя по лаковому голенищу, покупая по ценам, которые были тридцать лет назад, не скупился, хлопал себя по голенищу и говорил:

— Риант оставляете? Прекрасно... Запишем в общий счетец. Подытожим.

И она оставляла все.

Но за день до отъезда, когда в гостиной, среди комнаты, уже стояли пузатые, проеденные мышами баулы и валялся хлам, — в спальне, в пустом секретере, в нижнем ящике, увидела три записки.

Одна была черновик неотсланного письма, она писала сестре на Волгу:

«Будешь проѣзжать мимо Самары, поклонись городу, давшему миру М. Д... Живу скучно, однообразно. Изучаю английский. Знаешь, сегодня — 24 июня, Иванова ночь, когда цветут несбыточные цветы паростника».

Эта записка была написана двадцать три года тому назад, семь лет спустя после того, как она была несколько дней невестой, и М. Д. — тот — он.

На другой записке, на лоскутке, неизвестно когда исписанном, было:

«29 сентября двадцать девятое, 29, 29...

М. Д., М. Д... Михаилъ, Михаилъ. Проба пера».

29 сентября, тридцать лет назад, привезли умывальник, кровать и будильник, и в тот же день тогда, вечером, она перестала быть невестой...

Третья записка была счет из Москвы, от Юргенсона, счет по покупке рояля.

Были сумерки, когда она читала эти записки, солнце садилось, и красные лучи шли через сирень в комнату, выкрашенную синей краской и темную. Она стояла, тонкая, в черном платье, в седых буклях, с тремя пожелтевшими листками в тонких пальцах, сжатых золотом колец и браслета. Затем она расстегнула свой ручной чемоданчик и спрятала тщательно эти записки, на дне, за баночками с косметикой, за связкой нотариальных бумаг, векселей и купчих, за золотом. Потом она пошла в сад; цвела сирень, отцветала черемуха, зацветали ландыши, поздно ночью запел соловей. Небо было прозрачным, синим, легким, над городом стала тишина.

В дом она вернулась с воспаленными глазами, с платком у губ, сгорбленная, старенькая, прошла в спальню, стала на колени перед умывальником и поцеловала свято его мрамор, подошла к будильнику и прижала его к сердцу, к дряблой, пустой груди; прошла в зал, упала на лакированную крышку рояля, долго была неподвижна, потом проиграла глупенькую немецкую пьеску «Unter den Linden». Рассвет был алым и ясным.

Утром, когда пришел мещанин прощаться, она отменила решение, — повезла, потащила за собой через всю Россию умывальник, кровать, будильник, играющий «Веверлея», рояль и две английских книги, из которых одна была грамматикой.

В доме временно, до перепродажи, поселился мещанин, рубил дичь из сада для топки печей.

Пески,
май 1918 г.

ЖУЛИКИ

Письмо и повестка пришли одновременно, привезли их вечером.—Пусть прошло семь лет с того июльского дня, когда в селе, — в сенокосном удушьи она, она и он, ходили в церковь венчаться, и поп все посматривал в окно — не пойдет ли дождь, не опоздать бы ворошить сено; тогда он настаивал на церкви, и она, стоя под венцом, все хотела собрать мысли и перевспомнить всю свою жизнь — и не могла, следила за батюшкой, и за тучей на горизонте: и, правда, пошел дождик, и батюшка из церкви побежал в поле, копнуть... — пусть прошло семь лет — пусть сейчас вечер: не могли не поникнуть и руки, и голова, и вся она, — именно потому, что время идет, время уносит, ничего не вернешь, все проходит. У женщины в тридцать семь любовь, многое — позади: у мужчины в тридцать семь — только разве замедлились чуть-чуть движенья дней и вечеров.

Решить надо было б правильно и просто — так, что письма и повестки из суда, где стоит казенное слово «ответчица», не было: — все кончено без судов, кончено временем, и его правом сильного, и ее гордостью, — и надо было бы вновь взять ведро и пойти к колодцу за водой и полить рассаду (огромная радость сеять в земле и видеть, как возрастает тобою посаженное!): — заспешила, вспомнила, какие тряпки в чемодане надо отобрать,

что взять с собою... — пусть стрижи за окном летают, обжигают воздух так же, как каждую весну: все — пусть!

Что же, у нее есть труд, у нее есть труд впереди, есть заботы, у нее будут вечера, — надо жить: н а д о ж и т ь!

Сторож Иван, — он же кучер, он же дворник, он же: — ну, как каждый день не ругать его, когда ему говоришь про Фому, а он отвечает Еремой?! Он сказал, что пароход проходит теперь на заре, надо выехать с полночи. И в полночь Иван потащил по грязям на телеге — полями, просторами, непокойным рассветным ветром; рассвет отгорел всем земным благословением; а на берегу узналось, что пароход будет только к вечеру: Иван покряхтел, помотал головой и, уверив, что скотине дома никто без него толком не задаст, уехал обратно. На воде, у берега стояла мертвая конторка, на горе прилепилась изба. На пороге избы сидела баба. Бессонная ночь вязала движенья, и нельзя было додумывать мыслей.

Баба от избы покликкала, сели рядом, на пороге.

— Вы, что же, сторожами здесь живете?

— Муж мой лесным сторожем служит. Сами мы дальние. Детей у меня четверо, четыре сына.

И так и запомнился этот день — пустой, с пустой конторкой, с избой над рекою, — и с о с ч а с т л и в о й женщиной. К полдням все уже зналось, — что эта баба счастлива, что она и ее муж хохлы (так сказала она), киевляне, — что муж ее тихий и добрый человек, двадцать лет служил у немца-колониста, и немец любил его за доброту (немец иной раз и бивал мужа, но муж был добрый, незлобивый, — не сердился, а немец любил: даже корову собственную разрешал держать), — что на Украине у нее дочь, замуж вышла, детей народила, внучат; старший сын ее теперь тоже лесником служит, женился было, да неудачную жену себе взял. все с другими мужи-

ками бегают, — собирався было разводиться, пошли в волость расписываться, но в волости затребовали рубль шесть гривен: — так и не развелись, денег жалко; остальные три сына при отце живут, один комсомолец, — а жалования муж получает, слава богу, восемь рублей на своих харчах. Была эта баба морщиниста, как старый гриб, ходила в красном платке и была, была счастливой безмерно, всем на этом свете довольной: комсомолец сын ее теперь ходил на раскопки, рыли курган, вырывали гроба из веков, — платили ему тридцать копеек в день, дуром валились деньги, — и нельзя было исчерпать бабиного счастья. В избушке на горе было по-малороссийски чисто, выбелено известью, — от русской печи сидеть там было душно, и мухи донимали: сидели все время на пороге. Приходили в заповодни муж и сыновья, обедали, посадили и гостью за стол, ели из общей миски щи из свежей крапивы; мужчины были молчаливы, поели, покрестились и легли в тени у дома спать; и гостью отвели спать — в сарай на сено; разбудили к чаю: самовара не было, кипятили воду на костре, у костра и попили чаю; отец взял винтовку, пошел в лес, сыновья пошли по своим делам; и опять старуха говорила о счастье, о том, что муж незлобивый, ему и в морду можно дать. Послеобеденный сон скопал время, баба говорила тихо и внимательно, и казалось, что изба эта, и эта баба, и ее дела, и сыновья, и муж — известны с исконок веков, и не было сил — хотя бы внутренне бунтовать против этого бабиного счастья: все было все равно.

И в этом безразличии отсвистел пароход, потащил мимо сумеречных берегов, в соловьином крике, в плеске воды под колесами. И безразлично прошел уездный городишко в пыли, где надо было пересаживаться с парохода на поезд. На минуточку странным показалось наутро, что вчера поля и деревья были зелены, а нынче здесь, где мчал

поезд, было еще серо. И вечером была Москва. Ничто не замечилось.

И новой ночью в номере на Тверской опять логически ясной стала нелепость приезда: были, любили, разошлись, ей никак не нужна выпись из постановления суда о том, что — «такой-то районный суд слушал и постановил» — быть ей свободной от прежних морозов и зацветать для новой любви, — новой любви у нее не было; новая любовь была у него, — но и о ней она ничего не знала, ибо его не было около нее вот уже три года. Что ей? — что же, она агроном, она горда!.. — и она горько плакала этой ночью, первый раз за эти дни.

В суд надо было явиться в 11, и она пришла без пяти одиннадцать. Он встретил ее в дверях, пошел навстречу, улыбнулся дружески, сказал:

— А я думал, что ты не придешь, стоило по пустякам тащиться, я бы прислал тебе выпись... — и замаялся, и сказал, о чем писал уже в письме: — мне неприятно было посылать тебе повестку, это глупое слово «ответчица», словно ты подсудимая. Ну, как поживаешь, как дела?

Ответила:

— Конечно, глупо было приезжать, но у меня скопились еще дела по службе. Живу попрежнему, много работы.

— Ты где остановилась, когда приехала?

— На Тверской, в гостинице. Приехала вчера вечером.

— Почему же ты не приехала прямо ко мне? Сейчас же после суда поедем, я перетащу твои вещи. Ведь мы же друзья, ведь никто не виноват, Аринушка, милая...

Она ничего не ответила. Он понял, что она не может быть искренней. Но она делала все усилия, чтобы быть простой.

Судья спросил: сколько лет, как зовут, что вы имеете против? — какую фамилию вы хотите носить? — Он,

«истец», сказал: — «Я бы хотел, чтобы ты оставила мою фамилию». — Она не думала об этом, она залилась крозью, ей показалось, что ее оскорбляют, — она сказала растерянно:

— Да, я хочу оставить фамилию мужа.

Судья попросил расписаться, объявил, что за выписью из постановления суда надо притти завтра.

— Можно итти? — спросила она судью.

— Да, все уже кончено, — ответил муж.

— Поедем к тебе за вещами.

Они выходили из суда, мимо них провели за штыками арестованных.

— Я поеду сейчас в наркомат, — ответила она. — У меня будет очень занято время. Ты возьмешь завтра выписку, тогда пришли ее мне в деревню. Всего хорошего, — и она протянула руку.

Он не взял руки, он заволновался.

— Послушай же, ведь мы любили друг друга, мы останемся друзьями. Невозможно расстаться так.

— Не забудь прислать выписку, она мне очень нужна. Ну, конечно, у нас нет поводов ссориться. Я просто буду очень занята, — она улыбнулась, тряхнула бодро рукой. — Давай руку.

— Что же, все кончено? — спросил он.

— Выходит так, — ответила она. — Прощай, я спешу.

Она поехала на городскую станцию купить билет.

И в этот же день вечером она ехала обратно. С ней в купе, в полупустом поезде сидел старик в чесучевом пиджаке, кряхтел, ел колбасу из корзиночки, отрезая мелкими ломтиками, приносил на станциях в чайнике воду. На ночь они оба забрались на верхние полки.

И поздно ночью в купе пришли двое, забрызганные грязью, в сапогах, в кожаных куртках, с портфелями, — от них пахло распутицей, бессонницей, напряженной рабо-

той, бодростью, табаком. Ехали они, должно быть, недалеко, — не раздевались, открыли окно, закурили, разговаривали.

Разговаривали они о кооперации, были, должно быть, кооперативными работниками, — говорили о неудачах и победах кооперации, о ее буднях, о ее практической работе, о том, что русская кооперация еще не созрела, чтобы торговать обувью и одеждой, что не удастся так же кооперативная торговля мясом, — говорили просто, буднично, чтобы убить время. Потом надолго заговорили о служащих в кооперации, о приказчиках, кассирах, вековщиках, сторожах. Большой процент неудач кооперации они возлагали на неподготовленность кооперативных служащих. За предпосылку, правильную, как аксиома, они брали правило, что каждый, приказчик, заведующий лавкой, кассир — жулик, и обсуждали, как этого избежать или как сделать, чтобы жульничали меньше. Слова ж у л и к они не употребляли, оно вытекало само собою; они говорили, что каждый служащий берет себе и своей семье бесплатно мясо, масло и вообще все, чем торгует (мясная торговля не удастся именно потому, что никак нельзя проконтролировать, сколько вышло фунтов разных сортов мяса из данной туши), что даже у членов правлений есть обычай «Христа славить», то есть «завертывать» себе по фунтику того и другого. Один из собеседников рассказывал, что иной раз приказчики проворовываются явно, и тогда неизвестно, как с ними поступать: рассчитать, отдать под суд? — во-первых, огласка, а во-вторых, на его место придет второй такой же, а отданный под суд потянет за собой и всех остальных, и надо налаживать дело вновь. Второй доказывал, что прогонять не надо, разве уж в очень редких случаях, — а лучше приказчика держать на такой грани, чтоб он чувствовал, что догадываются, что он жульничает: никому

неохота прослыть вором, — ну, его и держать на этой грани в страхе, как бы не ославился он вором.

Потом они ушли, эти два кооператора, — в ночь, в деревню, на полустанке. Когда поезд тронулся, старик на полке поднялся, свесил ноги, посидел так недолго, слез, чтобы закрыть окно, и вновь сел на полку.

— Не спите? — спросил он. — Слышали, как разговаривали? О том, что у человека честность может быть, — об этом ни слова не сказали. Так, стало быть, и есть на самом деле. Мне вот что непонятно, уж и не знаю почему, — только чужого я никак не возьму и всегда не понимал, как это делается. Слышали, как разговаривали? — не о людях, а о номерах, — об инструментах плохого качества.

И тогда она поняла, что самое существенное в ее поездке — убогое счастье бабы над рекой и этот ночной разговор. Да, жизнь каждого человека связана так, что — не все ли равно будет, если его, человека, взять с поправкой на испорченную машину, испорченную жульничеством, безграмотностью, ложью, любовью, — связанную государственностью, трудом, куском хлеба, — тою же любовью. И, быть может, счастье на самом деле в том, чтоб быть связанным так, когда нет рубля шестидесяти копеек на гербовую марку при разводе, как связана та баба над рекой, — как не связана она. Ей было оскорбительно слушать тех здоровых, что пришли и ушли ночью, от которых пахло весенней распутицей и здоровьем. Жизнь человека — большая обязанность, никак не в его воле, всячески связанная...

Старик напротив, проснувшись уже окончательно, заговорил, хотел поговорить подольше, спросил куда едет, где работает, — обрадовался, узнав, что она агроном, сообщил, что он уездный врач. За вагонным окном воз-

никал рассвет. Она заговорила с ним, первый раз заговорила за эти дни, — хотела говорить.

Врач рассказал: ездил в Москву, там его дочь выходит замуж за инженера такого-то. Это была фамилия ее мужа.

Она спросила:

— За Григория Андреевича?

— Да, за него, — ответил врач. — А вы его знаете?

Она ответила односложно и легла на полке лицом к стене, сделав вид, что хочет спать. Он — этот старик — врач — стал врагом: он — вор, он украл...

Когда она слезла с парохода, она увидела, что избы над горою нет, там торчала одна лишь обгорелая печь да несколько недогоревших бревен. И ей рассказали о событии: в этой избе жила семья разбойников, грабивших на дорогах, убивавших людей, семья высленцев-малороссов, отец, четыре сына, мать. Когда пришла милиция их арестовывать, они стали отстреливаться, стрелял и одиннадцатилетний младший сын и старуха мать; в перестрелке убили отца и четырех сыновей: тогда старуха подожгла избу и умерла в огне.

Иван, говоривший всегда про Ерему, когда с ним заговаривали про Фому, всю дорогу рассказывал подробности перестрелки, ставшие уже легендарными, и всячески поносил разбойников.

Гаспра,
май 1925.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВЕТЕР

I

Десять лет человеческой жизни — оглянуться назад на десятилетие — все это было вчера: все помнится до мелочей, до морщинки у глаз, до запаха в комнате. Но в каждые десять лет уходит с земли из жизни — одна пятая всех живущих на земле людей, десятки миллионов людей идут гнить в землю, кормить червей; впрочем, в эти же каждые десять лет и приходят в жизнь миллионы людей, рождаются, растут, живут, идут в новые земли, множатся, буйствуют половодьями весен, изобилуют летами, покояются эмалевыми днями бабьего лета, сгорают красными зимними зорями. — И каждая эпоха человеческой жизни, каждая страна, каждый город, каждый дом, каждая комната имеют свой запах — точно так же, как имеют свой запах каждый человек, каждая семья, каждый род. Десятилетия скрещиваются иной раз — очень часто, и — за эпохами, за событиями городов и стран — ему, этому, данному человеку — морщинки у глаз, запах комнаты — существенней, многозначней, чем события эпох.

Над каждой страной дуют свои ветры.

У него, у этого человека, Ивана Ивановича Иванова, жизнь запомнилась городом с деревянными тротуарами,

с деревянными заборами вдоль улиц, калиткой во двор, тяжелым запахом жилья в сенях, низкими комнатами в дворовый бурьян. И над его жизнью продул ветер тот, что пахнет человеческим жильем. В его комнате стоял продавленный кожаный диван, за диваном веками собирались окурки. На столе в его комнате изредка менялись книги, и никогда не менялось сукно: это был письменный стол, пепел перецветил сукно на столе из зеленого в желтое, пепел нельзя было сдуть со стола. И за низкими окнами в сад рос бурьян, крапива, лопухи, белена. Над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человеческим жильем, — и этот ветер застрял в его комнате.

И там за десятилетиями запомнился навсегда осенний, промозглый вечер, уж очень, до судороги в горле, пропахший человечиною: это был вечер, когда он прогнал свою жену. До этого были и бурьяны рассветов, и половодье полей, и ночи со словами о том, — что — «люблю, люблю, навсегда, навсегда!» — были обвалы рассветов, когда в рассветном мире были — солнце, мир и озера ее глаз, в которых можно утопить мир и солнце, — она, заполнившая мир и солнце. В человеческой радости тогда родился ребенок, новый Иван, в сумерки глаза матери были прекрасны всем прекрасным материнством мира, — в сумерки он приходил тогда к ней, чтобы поцеловать ее бледную руку: ребенок тогда спал, новый Иван. — Все это было. — И потом был тот промозглый вечер, такой вечер, когда человеку одиноко, страшно на земле от удушья человечины.

Это не был вечер: это была полночь. За окнами лил осенний дождь, и там надо было колоть глаза. На столе горела свеча, капала на то самое сукно, которое никогда не сменялось. У нее опухли глаза, и у глаз были морщинки. Он стоял у стола. Она стояла у дверей.

Она говорила:

— Иван, пойми, это все ложь, прости. Это было наваждение. Ведь у нас было же настоящее большое счастье, мы же любили друг друга.

Иван Иванович наклонился к свече и читал медленно, по складам, сотню раз перечитанный лоскуток бумаги, написанный ею: — «Николай, это наваждение, но я не могу быть без тебя. Мужа не будет сегодня дома, калитка не будет заперта. Приди к одиннадцати, когда все уснут...»

Иван Иванович клал руку с лоскутком к себе в карман, отклонялся от огня и говорил медленно, по складам:

— Прощать тут не в чем. Это слово сюда не подходит. Я наваждениями не занимаюсь. И наваждение тут тоже не при чем. Просто ты голая лежала с голым мужчиной в моей постели. — Ступай вон!

— Иван! — у нас же ребенок, у нас же сын!..

Иван Иванович сострился:

— У нас же ре-бе-нок: вот именно, мне не надо, чтоб у тебя были жеребцы. — Ступай вон!

И тогда у нее исчезли морщинки у глаз, остались одни глаза, полные ненависти, презрения и оскорбленности. Она прошептала ему, тоже по складам:

— Не-го-дья! И люблю, и люблю — его люблю, а не тебя!

Иван Иванович ничего не ответил, растерявшись на минуту. Она повернулась круто, хлопнула дверью. Он не пошел за ней. За дверью было тихо. Он стоял неподвижно. За дверью было тихо. Так прошло, должно быть, четверть часа. Тогда он бросился к двери. За дверью было пусто, постель ребенка была пуста, горела около постели на стуле свеча. Дверь была открыта. Он бросился в сени, в тяжелый запах жилья. Дверь на двор была открыта. Он бросился в дождь на двор. Калитка на улицу была открыта. Тогда он крикнул беспомощно, очень унижительно и жалко:

— Аленушка — —

Ему никто не откликнулся. Улица провалилась во мрак и дождь.

Потом наутро баба принесла записку: — «Иван Иванович, будьте добры!» — в записке просилось с посланной отослать вещи — ее и сына, только. Он собрал все вещи, собирал их целый день, баба помогала ему в сборах; баба дважды уходила есть, пить чай и обедать; он не думал о еде, и когда уходила баба, писал огромное письмо. К вечеру баба на тележке повезла вещи и за паузой понесла письмо. Иван Иванович помог ей вывезти тележку на улицу, на улице он жал руку бабы и просил не позабыть принести ответ. Бабе неловкими были рукопожатия, и она рассудительно говорила, оттягивая руку: — «Мне што, — велят, я принесу, чай, у меня ноги свои». — Ответа не было ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Но послезавтра узналось, что она уехала из этого города — куда-то по железной дороге, со всеми вещами, должно быть, навсегда. И она на самом деле уехала навсегда. Больше Иван Иванович никогда не видел ее. Через год он узнал, что она живет где-то в Москве, — через три он узнал, что у нее родился новый ребенок, мальчик, по имени Николай. Фамилия у мальчика была его, — Ивана Ивановича Иванова, — Николай Иванов.

За продавленным кожаным диваном росли залежи окурков.

II

Она, мать этих двух детей, жена Ивана Ивановича, понимала любовь так, как понимают ее очень многие женщины, когда они идут за каждым шагом мужчины, хотят знать каждую его мысль, — в сущности, мешают мужчине жить, мешают ему думать и работать, когда женщины теряют все свое, отдавая первым делом достоин-

ство; такие любви неминуемо кончаются развалом, потому что даже любовное рабство есть рабство, и в таких любовях нет строительства. — Каждую человеческую жизнь и каждую человеческую любовь можно отобразить образом: и жизнь этой женщины в годы после того, как она ушла от мужа, похожа была на очень яркий, пестрый, красный платок, на цыганскую шаль, которую наввертели на руку, завихрили, вихрили около ночных загородных домов, свечей, около мутных рассветов. Эта шаль пропахла многими табаками и духами, но от давних дней в запахе ее затаился запах человечины. Потом эта шаль развивалась, упала — и упала она в очень мусорный московский пригород, в очень удушливый человеческий мусор. Сын Иван жил в провинции у сестры. Сын Николай жил сначала с нею, потом она отдала его в приют. Семи лет отроду сын Николай узнал муку падучей, там, в гулком коридоре каменного приюта. Мать же узнала тогда, что отец его, тот, который не дал даже имени сыну, — просто негодяй, потому что только негодяи могут осмеливаться родить больных детей: впрочем, мать тогда давно уже считала и себя негодяйкой, посмевавшей родить ребенка (и еще впрочем: человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой)...

И тогда мать умерла. Мать умерла достойно, сумев оставить в детях, и в Иване, который жил далеко и был здоров, и в Николае, который жил рядом за приютскими заборами и был болен падучей, — она сумела оставить в них любовь и уважение к себе. Она умерла от какого-то тифа, но большой смысл смерти был в том, что все, положенное ей на жизнь, она отжила.

Дети не знали друг друга. И только через годы к Николаю в приют пришло письмо от брата Ивана, из провинции. Брат писал, чтобы познакомиться, чтобы восста-

новить братские свои права. Николай ответил ему. Брат Иван писал о реке, над которой он жил, о сеновале на дворе, о товарищах по гимназии, о птицах, о поле. Брат Николай писал о своих коридорах, о ремесленном своем училище, о дортуарных буднях. После многих писем брат Николай написал брату Ивану о своей болезни. Оба они много писали о матери, каждый рассказал другому все до мелочи, что сохранила память о святом — о матери. А когда Ивану в его провинции исполнилось четырнадцать лет и ему рассказала тетка об отце, Иван написал Николаю, что у них сохранился отец. Эта весть странно отразилась на Николае (или, быть может, именно так, как и следовало ей отразиться): Николай замечтал об отце. Николай глубоко спрятал в сердце, научившемуся прятаться в приютских дортуарах, мечту и мысль об отце, заветную память и нежность. Иван написал отцу; и отец ответил Ивану длинно и нежно: Иван переслал письмо отца брату Николаю. Николай написал Ивану Ивановичу Иванову; и тот ничего не ответил ему — —

(Надо в скобках сказать тут, что эти дни бытия Ивана и Николая привели их в великую русскую революцию.)

III

Десять лет человеческой жизни — недолгий срок. И десять лет человеческой жизни — громадный срок!.. У Ивана Ивановича Иванова, отца, все больше и больше копилось за продавленным кожаным диваном окурков, — и все попрежнему лежал город с деревянными тротуарами, с деревянными заборами вдоль улиц, с калиткой во двор, с тяжелым запахом жилья в сенцах, с бурьяном за окнами. Неважно, кем был и мог быть Иван Иванович, преподавателем ли гимназии или земским статистиком: над его жизнью продул тот ветер, что пахнет человеческим жильем. — И там, в десятилетиях, в годах, Иван Ивано-

вич помнит письмо от сына Ивана. Его принесли утром, первая строка там гласила: — «Здравствуй, дорогой мой папа», — и в тот день Иван Иванович помолодел на десятилетье, запомнил солнце, помнил бурьяны рассветов, половодье лет, — и чуть-чуть лишь помнил страшную ночь, тот момент, когда он шел от одной открытой двери к другой, до калитки, когда он крикнул во мрак на улице: — «Аленушка», — и в этот день ему все время вновь хотелось так же крикнуть, только громко, только окончательно всепрощающе, только очень радостно. И он тогда ответил сыну радостным и длинным письмом. — И тогда же, скоро пришло другое письмо, от Николая, — и оно начиналось теми же словами, что и письмо Ивана: — «Здравствуй, дорогой мой папа», — и всей кровью, всей ненавистью, всей той промозглой ночью, пропахшей человечиною, ему захотелось крикнуть, опять, опять: — «вон! вон! к своим жеребцам! — мне ублодков не надо!»

...И были осенние сумерки, когда от дождей особенно душливо пахнет в сенцах и когда очень рано надо зажигать свечи (это было время, когда уже отгромычивала революция). На дворе скрипнула калитка, кто-то палочкой прошумел по лесенке сенц. Отворилась дверь в прихожую, и оттуда спросили тихо:

— Будьте добры, здесь живет Иван Иванович Иванов?

— Да, я здесь, — ответил Иван Иванович.

В комнату вошел невысокий человек, с палкой о резиновом набалдашнике, какие носят калеки. Плечи его были подняты. И в сумерках лицо с тонкими усами, как веревочки, показалось очень бледным, очень усталым. — Так запомнился этот человек Ивану Ивановичу. — Он, этот человек, шагнул в комнату и нерешительно и радостно остановился у порога. Он сказал:

— Вы — Иван Иванович?.. — и заплакал и протянул вперед руки (палка упала на пол).

— Папа, — это я... твой... ваш сын Николай!

Иван Иванович стоял у стола (у того самого стола, на котором перецветилось сукно), — и он не подал руки, он отвернулся от Николая, — он почувал, как сразу вся та ночь из десятилетий вступила в комнату. Он сказал тихо:

— Садись. Чем могу служить?

Николай ничего не ответил и покорно, поспешно сел на стул у двери.

— Чем могу служить?! — громче сказал Иван Иванович.

Николай не понимал вопроса, не успел ответить.

— Чем могу служить?! — закричал, завизжал Иван Иванович.

— Простите, я не понимаю — —

Иван Иванович потащил по полу от стола кресло, сел против Николая, руки упер в ручки кресла. Иван Иванович поднял палку и передал ее Николаю. Николай принял палку. Иван Иванович пристально глянул на Николая, прищурил глаз.

— Простите, не знаю вашего отчества, — заговорил шопотом Иван Иванович, все больше прищуривая глаз. — Не знаю вашего отчества, — повторил он громче. — Извините. Нам надо объясниться, чтобы покончить недоразумение. Вы носите мою фамилию по недоразумению. Я не знаю, кто ваш... — Иван Иванович перебил себя, вынул из кармана папиросы: — Простите, вы курите? — нет?.. Так! — Простите, я не имею чести знать, кто ваш... батюшка!

Николай встал со стула. Иван Иванович тоже встал. Палка опять упала: Иван Иванович поспешно подал ее Николаю. Глаз Ивана Ивановича был судорожно зажат.

— Да, да, — простите! Не имею чести! Я здесь не при чем!.. Не имею чести!.. Не имею чести знать, с кем... с кем приспала вас ваша матушка!

Николай не слушал больше Ивана Ивановича. Он пошел вон из комнаты. Он шел поспешно, припадая на правую ногу, в правой руке была палка, правое плечо было поднято так, как оно бывает поднято только у очень нездоровых людей.

— Да, да, — не имею чести! Не имею чести! — кричал вслед Иван Иванович.

* * *

...Братья Николай и Иван условились встретиться в городе, где жил отец. Николай приехал несколькими часами раньше Ивана. Иван с вокзала поехал в гостиницу. Он узнал, что брат уже здесь. Они никогда не виделись. В номере горела на столе свеча, когда вошел Иван, высокий, здоровый человек в военной форме командира полка. В номере горела на столе свеча, но Иван никого не увидел в номере. Он спросил коридорного, — где брат? — Коридорный ответил: — Они никуда не выходили-с. — Тогда Иван увидел на полу, за столом человека. Человек обнимал спинку стула. Иван, сильный человек, запутанный в ремни от сабли и револьвера, поднял человека на руки.

— Николай, голубчик, что ты? — спросил он тревожно. — Припадок?

Николай ответил покойно:

— Нет, никакого припадка нету. Я здоров. Я был... — Николай затомился словами. — Я был у Ивана Ивановича Иванова, у твоего отца. Он мне сказал, что наша мать была... что он не знает, кто мой отец, с кем приспала так сказал он, меня моя мама.

— Что?.. наша мама — —

На столе в номере горела свеча. Сильный человек держал слабого за плечи. За окнами улицы провалива-

лись во мрак. На столе у свечи лежали окурки. Вскоре сильный человек сидел рядом со слабым на полу: это впервые встретились два брата, два человека, никогда не видевшие друг друга, но с первых дней своего сознательного детства знавшие все друг о друге, — они говорили о маме, которую один из них помнил. И для того человека, который жил в этом же городе, к которому они приехали, у них было сухое слово — негодяй, — негодяй, который осмелился посягнуть на память матери — —

...В уездных городах деревянные тротуары служат не только к тому, чтобы по ним ходили в грязь, — тротуары разносят всякие уездные новости. И человеку, Ивану Ивановичу Иванову, человеку, жизнь которого пропахла человечиною, выпало еще раз пережить ночь, похожую на ту, когда открыты были все двери: была ночь наваждений, тех наваждений, которые некогда, там, за годами, увели от него его жену. Улицы проваливались во мрак, плакала земля дождем, и Иван Иванович стоял у калитки и ждал сына, сына Ивана, который был за переулком в номерах «Москва». И Иван Иванович-отец кричал в темноту: — «Иванушка!» — Сын Иван не пришел к отцу. — И наутро отец Иван видел сына, — тоже, в сущности, единственный, последний раз, — на вокзале. Он, отец, стоял в толпе. Мимо него прошли двое: один, опирающийся на палку с резиновым набалдашником, и этого хромого вел высокий, здоровый военком, запряженный в ремни от сабли и от револьвера, белокурый, румяный, здоровый, покойный человек. И отец увидел: глаза его были небывало похожи на глаза матери, на те озера, в которых некогда он мог топить мир и солнце. — Поезд ушел очень скоро, отсвистел, отдымил, отшумел. Отец пошел по деревянным тротуарам города, мимо деревянных заборов. По улицам дул ветер. — По улицам,

по деревянным тротуарам шел дряхлый, седой человек — —

Дома в сенцах запахло человечиною.

IV

Впрочем: человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой.

Москва,
сентябрь 1925.

ГРЭГО-ТРИМУНТАН

I

Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море. Всегда можно сказать о людях, что они просты, — и никогда нельзя говорить, что просты люди. Эти люди были строги, молчаливы, медленны, — были просты — как просто море. Они знали, как знают от детства мать, что такое вооруженные мачты с реями и мачты — сухие, — что такое трембака, бригантина, бриг, барк, фрегат; и они умели их водить по морям, по ветрам и против ветров — от тримунтана на ливант, от острин на пунентий, и очень знали, когда с Азии дует широко, а с Европы миастра (так называли они осты, зюйды и норды, — и ветры с этих сторон). Они очень знали соль моря, — знали, что значит «в море», сиречь в шторм, когда надывается гулошлеп, сиречь ветер, — что значит тогда лавать по вантам и путаться в такелаже. По той земле, где жили они, прошли многие народы, и никто не знал, чья кровь осталась здесь, на этом каменистом берегу, в поселке, откуда мужчины шли только в море.

За поселком от моря шла степь, и степь обрывалась в море невысоким каменистым и песчаным обвалом, таким, каким обрывается в моря Великая российская равнина. Туда к морю, в каменистую бухту, вела каменистая тропинка, — и этой тропинкой уходили молодые в море,

чтобы почти никогда — стариками — не возвращаться назад этой тропинкой, могилы себе сыскивая в морях. В поселке оставались женщины и дети, — да изредка в греческой кофейне пили водку моряки, — те, кто или уже навсегда сменял воды моря на водку, или те, кому на ногу наступил Нептун, морской бог, вырвав на время из рук руль и троссы, унося бригантины и трембаки в моря, а его оставив на берегу, — и еще гуляли по берегу и пили кофе по-турецки в греческой кофейне те, кто с моря пришел богатым, — пришел из-за моря, отдал якоря, отдыхает, гуляет, нового ждет счастья и моря. Женщины оставались в поселке. Женщины перед закатом, когда особенно прозрачны морские дали, выходили к обрыву, — их обдувал ветер, они козырьком прикладывали руки к глазам, чтобы лучше видеть, чтобы не мешало уходящее солнце, — и смотрели в море, туда, где шли их капитаны, штурмана, подшхиперы, боцманы, юнги.

II

Их было двое — два шкипера, два друга, два крестовых брата, поменявшиеся крестами в бурю, в час, когда вместе они гибли. Они одновременно увидели — в детстве — солнце, поднимавшееся из-за степи и уходящее в море. Вместе они сошли по каменистой тропинке к морю, чтобы уйти в море, чтобы пройти путь от юнги до шкипера, чтобы водить по морям трехмачтовые бриги. Их одинаково просолило море, — и вместе они сошли в смерть.

Им одинаково задалась жизнь, потому что они были почтены товарищами, водили бриги, — потому что у них были красивейшие жены и были хорошие дети: потому что у них была удача и крепко сидели головы на крепких плечах (Николай женился пятью годами позже Андрея). Это были два друга, обменявшиеся крестами

в гибели, чтобы обменять жизнь одного за жизнь другого: тогда там, в море, в снегу и ветре, в месяце декабре у берегов Суланы их трепал грэго-тримунтан, они оба стояли у руля, в ночи, в ветре, в снегу — без компаса, без парусов, без мачт; — им не было страшно от той красноватой в свете фонаря воды, которая забегала на мостик, — и страшно было только лишь то, что руки окоченели и не было сил держаться за руль, разжимались пальцы; — тогда они обменялись крестами, на рассвете, когда их шхуну выбросило на берег.

Одного из них звали Николаем, другого — Андреем.

...Всегда о жизни каждого можно сказать, что она проста, — и никогда нельзя говорить так. У Андрея была красавица, прекрасная жена, дочь моряка, внучка моряка, — вольная, как море, и как ее отцы, обветренная всеми тримунтанами. У них был сын.

Андрей ушел в море, в синь Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, в Константинополь, в Пирей, в Порт-Саид, на месяцы, за деньгами, за подарками, за валанеей, за термаламой, за фигами, за коврами. Николай пришел с моря, с деньгами, с шальями, с маслинами. Николай тою походкой, которой ходят моряки после моря, принимая землю за палубу, ходил из дома в дом, шкипер, почетный гость, заходил в кофейную выпить чашку кофе и угостить рюмкой мастики товарищей. Закатами он со всеми смотрел в море, надвигая на глаза картуз, — и тогда он говорил значительные фразы о Стамбуле, о Чанаке, о Мителене, о смирнских тавернах, о том, как созвездие, называемое Поясом Иакова, ночами на Средиземном море только на кварту поднимается над горизонтом и опять уходит в море, в какие-нибудь двадцать минут; как запрыгивают на палубу летучие рыбы, — и как много сини в Эгее — синее небо, синяя вода, синие горы. К морю приходила жена Андрея, Мария, с ребен-

ком за руку; море обдувало ее платье, косынка билась парусом; глаза ее были сини, глаза скифки, и скифски-своевольно были сложены ее губы, просоленные морем. Вечерами Николай приходил к Марии, Мария укладывала сына, и потом они пили вместе вечерний чай, в мелочных разговорах.

И поздно ночью, когда давно уже были убраны на ночь рыбацьи лодки и даже собаки полегли спать, однажды Мария сказала, что она любит не мужа, но Николая. В комнате стоял кругленький столик, в турецкой расшитой скатерти, — перед диванчиком в подушечках. На столике лежали альбомы Афин и Стамбула, были кружевца под альбомами. На стене за диваном висели фотографии моряков, в рамках, уже засиженные мухами. Николай сидел на диванчике, Мария была рядом в кресле. Мария заговорила простыми словами о том, что он не уйдет к себе, что он останется здесь, что она любит его. Мария протянула руки к Николаю, положила их к нему на колени, скифские ее глаза провалились внутрь, скифские ее губы засохли солью.

И тогда заговорил растерянно Николай.

— Маня, — сказал он, — я с твоим мужем друг, мы с ним крестовые братья. Я тебя очень люблю, потому что ты красивая женщина и хорошая жена моего друга, у меня в портах на берегу и в море на палубе было много грехов, но с тобой я никогда не согрешу против моего друга, хотя, быть может, и хотел бы согрешить. Если ты будешь говорить такие слова, я не буду ходить к тебе. Забудь об этом, Маня, этого никогда не будет, и мы станем с тобою друзьями, как были до сих пор, и я буду приходиться к тебе, чтобы ты не скучала, когда Андрей будет уходить в море, а я буду на берегу. Я никогда не согрешу против моего друга.

Как передать этот ночной их разговор, — об этой,

должно быть, настоящей любви Марии, — когда Мария твердо сказала Николаю, что, если он не пойдет по ее воле, она солжет, наклеветет, скажет мужу, расскажет мужу, что он, друг мужа, Николай, добивался Марии, добивался ее чести.

— Маня, — говорил Николай, — не надо так поступать, — пойми, ты только разобьешь себе жизнь, потому что я тогда буду вынужден сказать всю правду, а Андрей мне поверит больше, чем тебе, потому что он знает меня больше, чем тебя. И ты сделаешь моему другу очень большое горе, потому что он тебя любит. Лучше, Маня, давай забудем эту ночь и никогда не будем говорить об этом: я знаю, ты женщина молодая, и с кем греха не бывает... А я завтра опять приду к тебе чай пить.

Море дуло на берега, сыпало прибрежными песками, катило волны, перемывало камни, перекачивало время. Андрей был в море, срок его пути кончался. Николай приходил пить чай и шопотом говорил истины о том, что не надо разбивать счастья людей, о том, что масло есть вещь масляная, и о том, как Пояс Иакова ночами в Средиземном море поднимается только на несколько минут, и как танцуют смирнские танцовщицы.

Андрей пришел с моря. Его бриг остался в порту, на боте он пришел в поселок. В тот час, когда окна огнем отражали закат солнца, он пришел к себе в дом. И, по обычаю моряков, в этот вечер никто не подходил к его дому, ибо там он оставался с женой. Наутро Николай пришел к нему.

Два шкипера поцеловались братски, и брат Андрей подарил Николаю константинопольский мундштук, бочонок маслин, мешок фиг, ящик рома. Они сели к круглому столу с альбомами, чтобы выпить по рюмке дузики и по чашке кофе. Им подавала Мария. Николай следил за ней, она была бледна, туманна, медленна

в движениях, как бывает с женщинами после страстной ночи.

— Маня, — сказал Николай, — почему ты не посидишь с нами?

— Друзьям надо побыть одним, — ответила Мария и ушла к сыну.

Андрей и Николай выпили много рюмок дузики, и потом они пошли в кофейню, два примерных на поселок шкипера, два друга. В кармане Андрея от моря и от портов застряли и турецкие пиастры, и греческие лепты, и английские шиллинги, и французские франки, и он, Андрей, только что оставивший борт, сорил ими в кофейной, угощая товарищей, своих учителей-стариков, своих погодков-собродяг по морям; Андрей был в новом пиджаке и всем показывал новый револьвер, купленный у бельгийца Хайфе.

III

Потом опять уходили в море и Андрей, и Николай, — стояли у штурвалов, кричали на боцманов, торговались с агентами, прятали контрабанду, живали в порядке «тихого плаванья и бурной гавани», — но иной раз держали и бурное море.

У Марии родилась дочь, ее назвали Марией. Крестным отцом был Николай. В день крестин очень много и дузики, и пунша, и просто русской водки выпили Андрей и Николай. В это время Николай нашел себе невесту, невеста была на крестинах, тоже крестною матерью. Невеста была из другого поселка, и поздно ночью Николай повез ее на боте в ее поселок. Море было безмолвно, но предутренний бриз раздувал парус и гнал бот. Николай сидел у руля, невеста положила голову к нему на колени. Хмель путал голову Николая, хмель губ невесты был рядом: невесту взрастало то же море. Отцы про-

рочили свадьбу осенним мясоедом, — эта же ночь была июльская. Какой хмель бродил в невесте? — на берегу, среди камней, в рассвете, в тот час, когда все новые и новые открываются дали моря и тихнет морской шелест, и замирает предрассветный бриз — была их беспоповья свадьба.

Но в осенний мясоед было венчание. Венчались в поселке невесты. Андрей с Марией приехали на венчание. Николай был в лаковых сапогах и в сюртуке. Невесту подружки украсили фатой и долго прикалывали ей флерд-оранж, цветы померанца. В церкви пел хор, невеста ступила первой на коврик. — И после венчания, в октябрьских сумерках и грязях, когда молодые ехали в фаэтоне из церкви домой, возмущенно и с ненавистью сказала молодая жена, — сказала, утвердила, спросила — о том, что дочь Марии — Мария, обоих их крестная дочь — есть дочь Николая, — что в дни, когда в прошлом году Андрей уходил в море, Мария любовничала с Николаем. Николай — в этот торжественный час, в слякотной ночи — клялся и божился в том, что все это выдумки. Молодая жена сказала, что знает она об этом от самой Марии, — что Мария поклялась ей, — и молодая жена кричала о том, что она не поедет на пир, что она всем расскажет об этом. Фаэтон степью вез их в поселок, где жил и родился Николай, свадебный пир был в кофейне, — и Николай долго путал возницу, гоняя его по степи, чтоб расстоянием и временем успокоить молодую жену, чтоб рассказать ей чистую правду о всем, что было год назад, — чтобы — вот, в новых лаковых сапогах, в сюртуке, в новом картузике, с величайшей торжественностью на сердце — недоумевать, не понимать, негодовать, потеть от несуразицы.

Свадебный пир был в кофейне. Фаэтон с молодыми очень опоздал. Молодых встретили на пороге со стака-

нами вина. Николаю стакан передала Мария. Молодой жене стакан передал Андрей, муж Марии. И Андрей поцеловался с Николаем, и, целуясь, Андрей задержал свои губы у щеки Николая и тихо сказал:

— Николай, ты мне — брат. И я тебе — брат!

IV

Потом пошли годы. Ветры дули с моря, ветры дули в море. Люди ходили на бригах, трембаках и барках в синее море, в делах и трудах, за фрахтами, за правом на жизнь, — за тою синью, которой так много в морях, сини неба, сини воды, сини гор — сини времени. Андрею и Николаю в руки шли удачи, они сдавали на капитанов дальнего плавания и командовали теперь паровыми пароходами, водили пароходы на Дальний Восток, в Америку, заходили за углем на Ямайку и в порт-Кардиф, — дома у них жили жены и росли хорошие дети. Так шли годы, десяток лет: в человеческом времени идут рождения, свадьбы, смерти.

И тогда умерла Мария. И муж Андрей, и друг Николай несли гроб до могилы. Николай — теперь давно уже Николай Евграфович — ел у Андрея, который так же давно стал Андреем Ивановичем, — ел кутью, подливал Андрею водки, пил сам и сиротливо думал о смерти и о несуразности этой кутьи. Вечером гости разошлись. Андрей и Николай — Андрей Иванович и Николай Евграфович — сидели в детской, непривычно укладывали детей, кормили их на сон и усаживали неумело на горшочек.

Андрей Иванович сказал:

— Коля, ты поукаживай за Маней.

И Николай Евграфович сел над постелькой Марии. Потом была нехорошая, пустая в доме ночь. Николай не ушел от Андрея. Они вышли на улицу и сели на крыльцо. Молчали. Ночь была черна, и не лаяли даже

овчарки. Андрей вынес на крыльцо бутылку вина. Выпили. Молчали.

Тогда заговорил Андрей.

— Десять лет прошло, как я хочу поговорить с тобой об одном деле, и не говорил, потому что ты не заговорил со мною об этом, а я знаю, что ты не сделаешь мне зла. — Правда, что Мария — твоя дочь? — Мне об этом говорила жена. Я тогда пришел с моря, и она сказала мне об этом, и я тогда решил, что раз так случилось, потерянного не вернешь. Я тебя должен был убить, но убить тебя я не могу. Я простил это тебе и Марии, и я никому об этом не сказал. Я только теперь заговорил об этом, первый раз. Расскажи мне все, — сказал Андрей.

И Николай горячо стал рассказывать правду, все, что было, — о том, что ничего не было у него с Марией, что никак не грешен он против друга и его жены. — Ночь была черна, не выли даже овчарки, не шумело даже море. И два человека, два друга говорили на крыльце о странностях бытия, о человеческой любви, о невозвратностях, — о той женщине, о той прекрасной женщине, которую сегодня зарыли в землю и которую в час их разговора начали уже есть черви.

— Должно быть, она любила тебя, — сказал Андрей.

— С тех пор я ни разу не говорил с ней об этом, — ответил Николай. — Последний раз я поминал об этом в день моей свадьбы, потому что она то же самое, что сказала тебе, сказала моей жене, в день нашего венчания. Что это значит?

— Должно быть, она любила тебя, — повторил Андрей.

— Тогда той ночью она сказала мне, — сказал Николай, — что она никогда не забудет меня и сделает так, что я тоже никогда не забуду той ночи, — но с тех пор она никогда не говорила со мной о любви.

— Она любила тебя! — сказал Андрей.

Была черная ночь. Они сидели на крылечке. Они пили вино и говорили о непонятном в этом мире. Не шумело даже море.

V

И еще прошел десяток лет. Марии, дочери Андрея, стало двадцать, — собою она повторила мать: как некогда мать, запекалась солнцем, просолилась морем, обветрилась морским ветром, как некогда мать, была своевольной и вольной. У Андрея Ивановича и у Николая Евграфовича посеребрили виски, посизели скулы, полегли у глаз морщины, просоленные временем, — возникли полнота и медленность движения; они носили теперь лаковые туфли, форменные — торгового флота — кителя нараспашку, фуражки, прошитые золотым позументом, — капитаны дальнего плавания, — разменивали пятый десяток своей жизни.

Человеческое время идет рожденьями, свадьбами, смертями. Николай Евграфович водил пароход с грузом зерна на Дальний Восток, шел морями шесть месяцев, — в это время по его поселку прошла холера, и на Дальнем Востоке он получил телеграмму от Андрея о том, что у него, у Николая Евграфовича, умерли дети и жена. Три месяца вел Николай Евграфович пароход Тихим океаном, Австралийским архипелагом, мимо Индии, мимо Африки, мимо Аравии; — чтобы этими тремя месяцами примириться с мыслью о том, что дома его встретят пустые стены, нежилой холод, одиночество, — что не выйдут к нему навстречу — в вечерний час, когда он на боте под парусом придет в бухту поселка — сын и дочь, не помахнет ему с обрыва жена, не будет ему перед сном вытоплена баня, и постель будет пуста.

...О жизни человеческой всегда надо говорить, что она проста, и никогда нельзя сказать, что проста человеческая жизнь.

Бот пришел в бухту затемно, когда уже убрались на ночь рыбаки. Капитан и матрос вытащили бот на берег, закрепили концы, заперли паруса и весла. Вверх уходила каменистая тропинка, во мрак. И из мрака на тропинке возникла женщина, в белом платье, в белой косынке, — быстро бежала по каменистой тропинке.

— Дядя Коля, это ты? — спросила женщина.

Капитана Николая Евграфовича встречала дочь Андрея, Мария, та, что повторила свою мать. Они пошли вместе в гору. Ночь приходила глухая, безмолвная, такая, когда даже не лают овчарки. Они прошли в дом Николая Евграфовича. На пороге их встретила старая нянька, поклонилась хозяину в пояс. Матрос поставил чемоданы в прихожей. Мария провела Николая Евграфовича в спальню, — на белой кровати лежало свежее белье, и старая нянька сказала, что баня готова. Мария шумела в столовой ложками и чашками. Во всех комнатах горели лампы. Николай Евграфович присматривался к Марии, и ему казалось, что со счетов сброшены двадцать лет, что перед ним Мария — та. Уже со свежим бельем в руках, в дверях, чтобы прейти в баню, Николай Евграфович спросил обеспокоенно Марию:

— Что же, тебя прислал отец?

— Нет, я пришла сама. Я буду жить у тебя, дядя Коля.

Николай Евграфович ничего не ответил, повернулся, постоял у двери — опять повернулся, — неловко, потому что в руках было белье, обнял за плечи Марию, поцеловал ее в лоб, — и тогда пошел в баню. Баня была жарко натоплена, в бане хорошо было париться. — А дома в столовой кипел самовар, на тарелочках, в салфеточках, так, как любил Николай Евграфович, лежали и вяленая кефаль, и маслины, и еврейская колбаса, и свежие булочки, и стоял холодный графинчик водки. Чай разливала, маслины накладывала, хозяйничала — Мария, и за

чаем тараторила о всех новостях, кто куда ушел в море, кто умер и кто поженился, какое кому повезло счастье и какие выпали горести. Николай Евграфович сидел молчаливо, покорно шил, ел, поглядывал, ни о чем не спрашивал.

После чая Николай Евграфович выходил на крылечко, и Мария выходила с ним, села рядом, прижалась к нему плечом. Ночь была черна и безмолвна, не шумело даже море. У людей, которые прожили трудную, в сущности, жизнь, в годы, когда они разменивают пятый десяток лет, появляется некая ригористичность, любовь поучить, — жизненный опыт их родит консерватизм, они предрекают всегда всем правила, которыми будто бы сами прожили жизнь и которыми надо жить. Николай Евграфович оживленно заговорил о том, что заборчик надо починить, надо для этого позвать дурачка Митю Шерстяную-Ноггу, — что те маслины, которые он привез, надо заправить маслом и лимонами, — что бригантини хуже трембак потому, что в шторм вооруженные мачты с реями менее управляемы, чем сухие. Мария слушала безмолвно.

Тогда Николай Евграфович поднялся, чтобы пойти спать.

Он лег на опустевшей своей двуспальной постели. Мария легла в комнате рядом, в бывшей детской. Капитан долго возился, расшнуровывая ботинки, кряхтел, поставил свечку на столик около кровати, взял книгу — приложение к «Ниве», полученное без него. Из комнаты Марии не долетело ни одного звука. Капитан потушил свет, тогда стали во мраке видны полосы света, идущие в дверную щель из комнаты Марии.

— Маня, ты не спишь? — спросил Николай Евграфович.

— Дядя Коля, можно прийти к тебе? — ответила Мария.

Мария не дождалась ответа, скрипнула дверь, капитан увидел на пороге босую Марию, раздетую по-ночному, с шалью на плечах, со свечою в руке. Свеча потухла, и Мария села около капитана на кровать, руки ее и голова упали на грудь к капитану, и Мария зашептала:

— Дядя Коля, папа, — мама мне говорила перед своею смертью, что ты мой папа, и просила у меня прощения, и взяла с меня клятву, что я никому не расскажу об этом, кроме тебя, — и взяла с меня клятву, что я никогда не перестану тебя любить и всю жизнь буду заботиться о тебе. И я всю жизнь люблю тебя, папа. Мне было десять лет, когда я узнала, и я всю жизнь готовилась сказать тебе об этом.

Капитан, как многие старики, был ригористичен и любил ставить точки над и, любил доказывать, что масло есть вещь масляная. И вдруг, вот тут, этой ночью, когда он пришел в свой дом, из которого смерть унесла всех его близких, сейчас, когда он твердо знал, что там в двадцатилетиях у него ничего не было с матерью Марии, — сейчас он усомнился в правде того, что было за двадцатилетием, усомнился в истинности фактов, точно факты могут быть неправдоподобны, как ложь — и неправда может быть фактом. Мария, девушка, просоленная морем, так доверчиво, так нежно положила голову к нему на грудь.

Старик-капитан отечески обнял Марию. Старик-капитан, бродяга по морям, морской волк, старчески бессильно, тихо заплакал, прижимая к своей груди дочь. Заплакал от нежности и от одиночества, ибо Мария была единственным человеком, оставшимся у него в этой жизни, — заплакал в удивлении от нестижимости того, что несет иной раз человеческая жизнь, — от любви к своей дочери, от забот о ней, — заплакал от старости, — заплакал, оплакивая ушедшее...

Ночь была черна, глуха так, что не были даже овчарки.

VI

[...Ветры дуют с моря. Ветры дуют в море.

Всегда можно говорить о людях и о человеческой жизни, что они просты, — и никогда нельзя так говорить.

...Тримунтаны, грэго, ливанты, пунентии, миастры — так называют моряки ветры — дуют с моря: и они же дуют в море — миастры, пунентии, ливанты, гарбии, острии. По той земле, где родился и жил капитан Николай Евграфович, некогда прошли многие народы, и никто не знал, чья кровь осталась здесь на этом каменистом берегу, откуда мужчины шли только в море: здесь были и греки, древние и теперешние, и левантийцы, и турки, и славяне, и молдавы; они говорили на языке, окрашенном украинскою речью, — но для моря, для Смирны, Салоник, Яффы, Александрии, Марселя у них был иной язык вроде такого:

— «Ту моргэ паране — море, и треба ми твэнти един хлиб».

Ветры иной раз дуют до свиста: но человеку в море нельзя свистать, как вообще не стоит свистать и просвистываться серьезному человеку.

Эгейское море,
3 ноября 1925 г.

ПООКСКИЙ РАССКАЗ

Два лыжных следа идут под гору. Если внимательно присмотреться, можно десятками мелочных примет установить, что на лыжах прошли две женщины, взрослая, уже немолодая, и девочка-подросток лет тринадцати: — женщина расставляет лыжи шире, чем мужчина, и шаг делает меньше. Очень хороший лыжный следопыт установил бы, что женщины — не русские. След идет с горы, по скату, очень прямой, — вниз к Оке. День декабрьский, морозный, снег сыплется, не мнется...

Нельзя сказать, кто герой этого рассказа, возникшего на русском Поочьи в Муромских лесах. Лыжный след принадлежит фрейлейн Леонтине Вальтер — во девичестве, — Леонтине Карловне Битнер — в замужестве. Ее муж, Готфрид Готфридович Битнер (крестьяне называли Федором Федоровичем), был земским зоотехником, разводил племенной скот и насаждал маслодельные заводы на поокские луга. Готфрид Готфридович, русский немец, обучаясь в Галле, встретил фрейлейн Леонтину Вальтер, они полюбили, поженились, — и она вместе с ним приехала в Муромские леса коротать русские дни: муромские дни стали отсчитывать годы. — Если Битнеры суть герои этого рассказа, тогда надо утвердить, что человеческое всегда человечно: пусть немецкая культура шьет свою вышивку на поокских суходолах. Леонтинна Битнер —

как, какими словами рассказать, что вот этот лыжный след, прямой, белый, твердый, прошедший по суходолу к Оке, — есть символ этой женщины, этой высокой, худощавой, красивой женщины, всю свою жизнь прошедшей в белых платьях с глухим воротником и с глухими рукавами?.. — Лыжный след девочки возник через десятилетия: фрау Леонтина Битнер навсегда была бездетна.

Глава первая рассказа —

возникла в тысяча девятьсот одиннадцатом году и протекла в губернском городе.

В доме агронома-зоотехника Готфрида Готфридовича Битнера разместился строжайший немецкий порядок, недоставало только курантов кирки в часы немецкого регламента. Тринадцать градусов тепла хранились в доме круглый год; рододендроны в зале-гостиной росли, как инженерные постройки; пол блестел солнцем, а на пороге в гостиную незаметные стояли туфли фрау Леонтины, как такие же туфли стояли на порогах кухни, столовой и спальни, для каждой комнаты свои туфли. Очень много было в комнатах солнца, покоившего в тишине дома. Минута в минуту в семь было кофе. Минута в минуту в десять потухало электричество. Дом стоял на окраине города, большими своими окнами глядел на губернию, на пригородные пустыри, на тюрьму, на Заочье.

Фрау Леонтина только несколько слов могла произносить по-русски, с тяжелым трудом. Агроном Битнер утром уходил в управу, в черном костюме, в рыжих ботинках, бритый и круглоголовый. Каждый день, от четырех до семи, за отдыхом, он говорил о сепараторах, о племенных телках и нетелях, об Эрнесте Геккеле, Бюхнере (произнося Бюхнера — Бихнер), о Мечникове, о его «Сорока годах искания рационального мировоззрения»: к нему в эти часы приходили агрономы, крестьяне, кооператоры, маслоделы, студенты, — он курил толстейшую сигару.

С семи, после ужина, он читал книги в переплетах, с красно-синим карандашом в руках (и автору этого рассказа только единственный раз пришлось видеть — в руках Готфрида Готфридовича — осмысленное применение красно-синего карандаша, когда красным карандашом делались положительные пометки, синим же — отрицательные, строгим правилом). Без пяти десять он был в постели, ровно в десять потухал свет. Детей у Битнеров не было.

Иногда Готфрид Готфридович уезжал в уезд, — тогда на эти дни дом замирал в тишине.

Глава первая рассказа должна начаться с возникновения в быте Битнеров юноши Алексея Битнера, племянника Готфрида Готфридовича. Юноша, сын старшего брата Готфрида Готфридовича, приехал к ним на зиму, чтобы окончить в этом городе реальное училище. И эта же первая глава сообщает о девушке-курсистке, Шуре Белозерской: Шура Белозерская — никак не эпизод этого рассказа. Она была студенткой — Петровской тогда — сельскохозяйственной академии выученица Готфрида Готфридовича.

Реалист Алексей Битнер, сын русской матери, никак не мог поспевать к кофе и каждодневно принимать ванну. Готфрид Готфридович прозвал его — «шалаш некрытый», по-русски. Юноша читал Достоевского и Соловьева, твердил брюсовские стихи, и по естественным наукам с трудом у него выходили тройки. Впрочем, Готфрид Готфридович не тратил на него времени, предоставив его фрау Леонтине. Ласков ли был юноша, или в нем говорил пол, запутанный родством, — этого не знал он сам, — и он, конечно, не умел разбираться в бытовом и духовном мире фрау Леонтины. Фрау Леонтина вела хозяйство, помогала мужу в его литературных работах, рылась в справочниках (также с красно-синим карандашом), переписывала доклады и статьи для «Сельскохозяйственного

вестника» и для «Зоотехнии». Реалист ходил в школу, учил уроки. В новом городе дружб у него еще не возникло. В досуги он приходил к фрау Леонтина, ластился к ней, звал ее на диван, и на диване, положив голову свою к ней на колени, на белое ее платье, читал вслух ей — Брюсова, Андреева, Чирикова, — то, что попадалось в толстых журналах. Читая, ее рукою гладил он свои щеки, — и, отрываясь от чтения, целовал белую ее руку. Прощаясь, они целовались. Все это отступало от немецких правил, — быть может, ей казалось, что он, юноша, оторванный от матери, от русской матери, нуждается просто в материнской ласке? — быть может, он восполнял отсутствующую у нее заботу матери к ребенку, потому что своего сына у нее не было? — ей тогда было тридцать три года, — быть может ей — женщине — нужна была человеческая ласка?

Реалист был переполнен всяческими мечтаниями, как и подобает в осмнадцать лет, когда все впереди. Реалист был наполнен любовиями к миру и ко всему мирскому, еще непознанному. Он был общителен, шутлив, озорват, — вскоре у него появились друзья, — вскоре сам он не знал, в какую из десятка его подруг-гимназисток, Катя, Оль, Зин, Ась, — он сегодня влюблен, — время его заполнилось, кроме уроков, свиданьями с друзьями и любимыми девушками. С друзьями он вслух читал «Гоголя и чорта» Мережковского, «Толстого и Достоевского» Вересаева, — подружкам, — во мраке кинематографа, — читал стихи Бальмонта. Четверть принесла двойки. Готфрид Готфридович разъяснил, что такое значит — «шалаш некрытый». Фрау Леонтина поступила круто, строжайше предложив ему войти в ее регламент: на час в день он может выходить гулять, с коньками на каток; в театр и в кино он может отпраляться только раз в неделю, по субботам; друзей он может приглашать к себе

только в воскресенья, он должен говорить, куда он ходит, и может в гости выходить, — опять-таки в субботу, выбрав по желанию гостей или кино, — девушки были выкинуты из обихода. — Здесь надо говорить о том, как иной раз находит коса организованности немецкой на камень российских безалаберств: потому, что однажды, удрав потихоньку, ночевал Алексей в прихожей на сундуке, ибо двери, сколь он ни дубасил в них и не ломал, не отворились, — потому, что, опоздав к кофе на три минуты, кофе он не получал — — потому, что очень странными были минуты примирения, когда фрау Леонтина тихо приходила к нему в комнату, смотрела, что он читает, гладила его голову и щекою своею прислонялась к его щеке. К весне все это кончилось тем, что юноша Алексей захворал острой формой неврастения: врачи повелели ему елико возможно больше гулять, — в реальном дали ему бумажку, что может он появляться на улицах позже восьми, в целях лечения, — а дома трижды в сутки Готфрид Готфридович, ворча о шалаше некрытом, поливал его из ведра подсоленной водок.

На рождественские каникулы, когда первые приступы неврастения приходили к Алексею в ряд с прибывающими и солнечными предьянварскими днями, когда по утрам не мог Алексей поднять с подушки развинутой головы и не мог спать ночами, когда метался он от буйства к ипохондрии, часы ипохондрии вылеживая на диване лицом в подушки, — на каникулы приехала из Москвы Шура Белозерская, некрасивая, в сущности, девушка, годами старшая, чем Алексей.

В сумерки однажды, когда Готфрид Готфридович с фрау Леонтиной поехали за покупкой к сочельничьей елке, Алексей сказал Шуре, рассматривая свой помятый носовой платок:

— Видите вот этот носовой платок. Утром он был свеж и бел, сейчас он мят и сер. Это жизнь. Жизнь — это серая стена, около которой, не видя ее, тоскуют люди. Сегодня я шел по улице, я увидел, как на морозе корчится нищая старуха, — мне захотелось кричать и плакать, — я отдал ей все мои деньги и я поцеловал ее... Посмотрите, вы тоже будете, как этот смятый платок.

Шура ничего не ответила, Алексей ушел к себе и лег на диван, носом в подушки. Около часа была тишина. Тогда Шура на цыпочках прошла к Алексею, наклонилась к нему, потрогала его голову руками, поцеловала его затылок. Алексей медленно повернулся, взял ее плечи, посмотрел на нее, привлек ее к себе, поцеловал в губы, положил голову ее себе на грудь, сказал:

— Мы — несчастные люди, мы — как тени. Как Диоген, мы при солнце ходим с фонарями, потому что мы слепы. Я хочу тебя полюбить, но я не могу, у меня нет сил.

Шура ничего не ответила, — она нашла его губы и поцеловала. Алексей сказал:

— Уйди. Я хочу быть один.

Шура ушла. Приехали старшие. Минута в минуту в семь был ужин. Минута в минуту в десять погаснул свет. Алексей зажег секретную свою свечку, лег с книгой. В одиннадцать, со свечкой в руке, Алексей стал гвоздем сверлить стену в соседнюю комнату, в комнату приезжих. Из-за стены он услышал попот:

— Зачем ты портишь стену? Тебе не хочется спать? — приходи ко мне, будем разговаривать.

— Я не одет, — ответил Алексей.

— Ну, так что? — мы же не мещане. Я тоже разде-лась, — ответила Шура.

Алексей пришел к ней, накинув на плечи плед. Она лежала, до подбородка закрыв себя одеялом. Алексей

сел на край кровати. Он заговорил о Гамсуне, о гамсунских несбывающихся любовях.

Он сказал:

— Я не могу спать ночами. Весь мир, все мои представления о мире и все мои инстинкты я сейчас перестраиваю. От детства мне казалось, что я — центр, от которого расходятся радиусы жизни. Теперь мне ясно, что я только пешка в лапах жизни. — Нет, — Александра, я никогда не полюблю тебя.

Затем он сказал:

— Александра, мы же без предрассудков. Я никогда не видел обнаженных женских плеч. Покажи мне.

Она молча обнажила плечо. Он рассматривал, как инженеры рассматривают новую машину.

— Можно поцеловать? — спросил он.

Она кивнула утвердительно головою. Он поцеловал так же, как дегустаторы распробывают качества вина.

— Ты девушка, Александра? — спросил он.

— Нет, — ответила она. — Был такой человек, когда я в последнем классе гимназии...

Алексей перебил ее, он сказал:

— Мне неинтересно, Александра. Я не люблю тебя, прости, Я пойду одиночеством.

И он ушел. — Все же он провертел в стене дырочку, дырочка приходилась к изголовью постели Шуры. Ночами Алексей поддвигал стул к дырочке и разговаривал через нее с Шурой, доказывая ей, что он не любит ее. Больше он не ходил к ней ночами. Два раза она приходила к нему, — ей было холодно, и она залезала к нему под одеяло, чтобы слушать ту кашу, которая творилась в его голове. — В ночь, когда на завтра Шура должна была уезжать в Москву, через дырочку Алексей сказал ей:

— Александра, мне стыдно сознаться. Я ни разу в жизни не целовался с женщиной. Мне страшно думать, что это

будет с любимой женщиной. Я хочу, чтоб это было с тобой.

— Я тоже хочу, — ответила она, — приходи ко мне сейчас.

— Нет, ты приходи ко мне, — сказал он.

Он знал, что, если пойдет он, у него на пороге двери задрожат руки, и он будет совершенно влюбленным. — Так ни он к ней, ни она к нему и не пришли в ту ночь, — ни в ту ночь, никогда. Утром Алексей ушел в реальное. Шура уехала без него. Они не простились. Только на другой день он нашел записку, всунутую в книгу.

«Ах, Алексей! — Брюсовская холодность вам не к лицу. В провинции, на окраинах, живут такие девушки с ямками на щеках: от полнокровия им нужна брюсовская холодность. Продумайте хорошенько ноябрьскую ночь...» — так написала она ему такое, чего он не понял.

В январе, по примеру с нищей, Алексей поцеловал в лысину учителя математики, в слезах сказав ему о том, что он милый и несчастный, как мир, — в этот же день Алексея освободили от занятий, и Готфрид Готфридович стал лить на него по три ведра в сутки соленой воды. В январе ж Алексей с компанией гимназистов угодила в публичный дом, впервые в жизни; инстинкт чистоплотности заставил его быть только свидетелем, — но на другой же день он завопил, что весь мир и он сам в первую очередь заражены сифилисом, чтобы его не трогали, чтобы не заразиться. Теперь сам он уже никуда не хотел идти, просиживал дни у печки, а в сумерки, несмотря на выдуманный свой сифилис, шел к фрау Леонтине, ластился к ней, клал голову к ней на колени, говорил, что она единственный его человек, целовал ее руки, шею, глаза и щеки. А ночами, в бессонницы, всю кашу своих домислов он изливал в письма к Шуре Белозерской в Москву. Шура ему не отвечала ни разу.

В начале февраля в Москву на съезд на неделю поехал Готфрид Готфридович. Готфрид Готфридович вернулся и передал Алкс ею его — Алексесвы — гисьма к Шуре. Письма были распечатаны. Готфрид Готфридович сказал, передавая письма:

— Шура просила вернуть тебе твою белиберду. Я прочитал, — какие безобразия ты пишешь девушкам!

Алексей полез на дядю с кулаками, чтобы доказать ему возмутительность чтения чужих писем. Дядя отщутился, в шутке взял руки Алексея и помяв ему кости. Алексей не понимал такой гадости — ни со стороны Шуры, ни со стороны дяди. Готфрид Готфридович сказал:

— Ты разорви эти письма, тебе должно быть стыдно ва них.

Алексей пошел читать письма фрау Леонтине. Тогда Готфрид Готфридович, несвойственно для немцев осердившись, отнял эти письма и бросил их в печку. И тогда впервые увидал Алексей, как плакала Фруа Леонтина, крупными безмолвными слезинками.

Здесь кончается глава первая рассказа. Алексей уехал в мае от Готфрида Готфридовича — навсегда, чтобы поступать в жизнь.

Глава вторая рассказа — истоками своими имеет главу первую, но узлы ее развязались пять лет спустя. За эти годы возникла война, увертюра революции. В эту увертюру Готфрид Готфридович купил себе на реке Кадомке, над Окою, усадьбу. Сам он попрежнему жил в губернском городе, разъезжая по уезду, — в усадьбе же посадил фрау Леонтину, где она примерное немецкое завела хозяйство, молочное, маслобойное, свиное, усадьбу покрыв, по-немецки, черепицами.

Надо восстановить историческую обстановку. Проходили четырнадцатый, пятнадцатый годы: война с немцами, когда каждая победа немцев на фронте отражалась

немецкими погромами в тылу. Фрау Леонтина почти не говорила по-русски. В колоссальном одиночестве (исключенное немцами слово — колоссал), в чужой стране, в непонимаемой стране, во враждебной стране (ибо, все же, Германия была страной рождения и — в дали — была идеалом), без языка, гордая эта женщина, молчаливая, всегда в белом платье, — неделями, месяцами, одиночествовала в чистоте и порядке поистине уже немецкого под черепицами дома, в коровниках, где пол блестел, в свинарниках, где свиньи утверждали неизвестную в России истину того, что свинья — чистоплотнейшее животное. Вечера проходили у лампы с книгами в напряженном слухе, когда инстинктивно слушали уши — не зазвенел ли уездный колокольчик пары Готфрида Готфридовича (который действительно стал к этому времени Федором Федоровичем!), — не крадутся ли погромщики громить ее — немку?.. — Зимами в сумерки уходили лыжные следы: женщина шла ровно, покойно, чуть наклонив вперед и вниз голову, руки ее не по-русски были отброшены назад.

Готфрид Готфридович — Федор Федорович — наезжал всегда неожиданно, вечерами, — справлялся о телках и нетелях, — с фонарем обходил хозяйство, — говорил политические новости, шопотом сообщал и о русских, и о немецких победах, шопотом ставил прогнозы сепаратного мира, — затем отпирал свиной кожи свой портфель и садился к письменному столу за бумаги, за сине-красный карандаш: он был очень занят, он очень спешил. Перед сном, прячась от фрау Леонтины, он вынимал из кармана и клал под подушку револьвер.

Наутро он шел в волостное правление к волостному писарю, шутил с ним, стараясь без акцента говорить по-русски. А в полдни, после обеда, не ложась по немецкому обычаю отдохнуть до кофе, он уезжал дальше, запахивая горбатый свой нос в воротник шубы, — фрау Леонтина

оставалась одна. В этот день вечером особенно крепко засовывала она засовы, особенно тщательно просматривала замки: замки и засовы — единственное русское в ее хозяйстве, ибо у немцев нет в деревенском обиходе громил, замков и засовов. Так шли недели и месяцы. Рабочими у нее служили татары, народ более честный, чем русские, — так же, как она, плохо говорившие по-русски: они понимали друг друга, — но российское окрестное население «немкину усадьбу» обходило стороной.

Об Алексее не было никаких вестей; где-то на фронте он воевал в качестве артиллерийского офицера. Шура Белозерская бросила Петровскую академию в год войны. В дом к Битнерам она не приезжала ни разу, — мельком от Готфрида Готфридовича фрау Леонтина знала, что Шура поступила на службу в их губернии в качестве заведующего молочной станцией, на маслодельный завод, что она сошлась с кем-то и что у нее двое детей, две девочки, и одна из этих девочек — слепенькая.

И вот весной, в половодье эсеровской революции, фрау Леонтина получила от Шуры письмо: Шура просила приехать фрау Леонтину к ней, возможно скорее, для очень важных переговоров. Фрау Леонтина ответила, что она приедет на Духов день.

Надо было ехать тридцать верст. Фрау Леонтина приказала заложить лошадь к рассвету — в телегу, потому что в шарабане опасно было ездить. Она вышла к телеге в белом платье, в кружевной косынке на голове, в сером дорожном пыльнике, с капюшоном, вывезенном еще из Германии. В руках у нее был зонтик, руки ее были в белых перчатках. Она улыбнулась восходящему солнцу. Она сорвала цветочек с дороги. Она пошутила с татаринном, дала ему ключ, чтобы тот взял большой запас овса. Татарин спросил, куда они едут. Она сказала. Татарин насупился.

— Не нада туда ехать, — сказал татарин.

— Постшему? — спросила она.

— Не нада, — ответил татарин.

Фрау Леонтина свела брови. Она села на торбу с овсом. Они поехали в российские поля, в щебет жаворонков. Они молчали. На полдороге фрау Леонтина развязала дорожную корзиночку, достала бутерброды, дала бутерброд татарину. Татарин улыбнулся и сказал:

— Я знай. Не нада туда ехать.

Фрау Леонтина взглянула на него гордо, — в достоинстве, она не спросила его — почему не надо туда ехать?..

Придорожные села и всесолнечный день ушли назад. К сумеркам, когда солнце кидало красные косые лучи, они приехали в то село, где был маслодельный завод. Их никто не встретил. Она постучала в окно, спросить, где живет Шура Белозерская: в окне — она видела — появился старинный знакомый агроном-маслодел — и сейчас же исчезнул, — высунулась баба, спросила:

— Вам Александру Ивановну? Она вот по этой лестнице в мезонине.

Фрау Леонтина пошла по лестнице в мезонин. В комнате плакал ребенок, никто не откликнулся. Косые красные лучи учиняли сумрак в комнате и беспокойство, уперлись в помятый самовар и разбивались в нем. В комнате пахло только что спеченным черным хлебом и пеленками — русский запах. Шура вышла из соседней комнаты с тазом в руке. Она увидела фрау Леонтину, — и она заговорила так, точно они виделись последний раз вчера:

— Здравствуйте, Леонтина Карловна, садитесь. Я сейчас вылью таз.

Фрау Леонтина стояла у дверей, дожидаясь. Шура вернулась, вымыла руки у ручного умывальника над ведром и села к столу.

— Нам надо объясниться, Леонтина Карловна, — сказала она. — Я думаю, что нам обоим очень тяжело. Произошла революция, которая уничтожает все предрассудки. Мне ужасна та ложность, в которой я живу. Те две девочки, которые у меня родились, — дети Готфрида. Посудите сами, — я больше, чем вы, имею право носить имя его жены.

Фрау Леонтина прервала Шуру приказывающим жестом руки. Она сказала, первый раз, должно быть, очень правильно по-русски:

— Да, мы будем иметь с вами беседу. Но прежде, чем говорить с вами, я должна переговорить с Готфридом Готфридовичем. Я жду вас у себя. До свиданья. —

Прямая, совершенно достойная, которую ничто не может замарать, фрау Леонтина вышла из комнаты. Возница ожидал, не распрягая. Она села на телегу сказала: — Домой.

Они молча съехали со двора. Солнце село за землю, свет был лиловым. Ночь пришла скоро, как всегда в мае. В лугах положились птицы. На полдороге обратно их догнал конский топот: верхом мчал Готфрид Готфридович. Татарин остановил лошадь. Готфрид Готфридович, в молчании, без слов, бросился при дороге на землю, в придорожную пыль, лицом к земле.

Фрау Леонтина сказала по-немецки:

— Встань, Готфрид. Не унижайся перед Саддердиновым! — и приказала по-русски татарину: — Езжайте!

Татарин нукнул лошадей. — Они уехали. Они приехали домой, — и всю ночь не потухал свет в окнах битневской мызы. Всю ночь татарин простоял у окна, тайком прислушиваясь к свету в окне, — лицо татарина было раздумчиво и печально, и на усы ему села роса. В комнатах была тишина, беззвучная, — татарин подсматривал: всю ночь, ни разу не двинувшись, не двинув ни одним

мускулом, просидела фрау Леонтина в кресле, откинув голову к спинке, вытянув ноги. В шесть она поднялась и, с ключами в руке, пошла на птичий двор. Пошел день забот и будней. Татарин не спускал глаз с фрау Леонтины.

Татарин — эпизодическое лицо, человеческая теплота.

Суть второй главы в том, что наутро тогда прикатил Готфрид Готфридович, — Готфрид Готфридович пытался встать на колени, чтобы молить прощения, и хотел плакать, утверждая, что — все же, все же, — лучшее в его жизни — Леонтина, его молодость, его путь по жизни. Фрау Леонтина не позволила ему — ни вставать на колени, ни плакать. Она разрешила ему поцеловать ее руку, — и она сказала:

— Дети Александры — твои дети, Готфрид. Нам суждено умирать, им надо жить: надо думать о них, — все наши несчастья — позади. Я не верю Александре, ее воспитательским способностям: у нее так пахнет пеленками, и помойное ведро у нее стоит в той же комнате, где печется хлеб. Ты имеешь такие же права на детей, как и Александра. И я требую, чтобы ты взял у нее детей и передал мне. Дети никогда не узнают, кто их мать, — и я воспитаю их достойными их отца. Ты можешь не приезжать ко мне, Готфрид, пока не привезешь детей. Передай об этом Александре!

Единственное, чем покривила в этой своей речи фрау Леонтина, — это было то, что Александру она называла — не фрау, по фрейлейн: барышней Александрой. Сказав, фрау Леонтина пошла на коровник; — и потому, что доходил седьмой час, на столе в столовой стал накрываться ужин.

Прошли недели, когда никто не приезжал на мызу, — и не было никаких вестей. И тогда приехала Шура с двоими своими детьми, бодренькой Анной и слепенькой

Марией. Фрау Леонтина вышла навстречу. Она поцеловала в лобики девочек; — она протянула — нерусским, прямым крепким жестом — руку Шуры. Они вошли в дом, фрау Леонтина несла на руках слепенькую Марию. Обе женщины были сосредоточены на детях: детей помыли, покормили и уложили спать. Тогда фрау Леонтина пригласила Шуру в гостиную, к филодендронам. Она попросила Шуру сесть и она сказала:

— Я вас слушаю.

— Да, — ответила Шура. — Мы должны все обрешить. Все понятно, — Готфрид переживает тот период, когда мужчины вдруг полошатаются перед старостью, — в общем он, конечно, только бюргер, человек немецкой мещанственности. Готфрид передал мне ваше решение. Я никогда не подчинилась бы ему. Но Готфрид бросил меня. Знаете ли вы, что Готфрид сошелся с новой женщиной, помещицей Соловьевой, муж которой на фронте, с веселящейся дамочкой? Я отдала ему лучшие мои годы. Мы с вами — обе брошенные женщины, — мы найдем, конечно, силы быть джентльменами друг к другу.

Заговорила Леонтина:

— Дети останутся у меня, навсегда, — вы о них забудете, я буду их мать. Но я вас совсем не гоню. Вам надо учиться, вы прервали ваше учение, — вы поедете опять в Москву, я буду вам помогать, я и Готфрид. Вы станете агрономом.

Заговорила Шура:

— Да, я оставляю детей вам. Не будем говорить о жестокости: вы же знаете, что мне остается пойти на улицу нищенствовать. От службы мне отказано. Какой негодяй и мещанин — Готфрид!..

Фрау Леонтина сказала строго:

— Готфрид — мой и ваш муж. Порицай, — вы порицаете себя. Не надо так говорить. — Пойдемте прогуляться, пока спят дети.

Они пошли в поле, к большаку. Солнце садилось за суходолы, был красный закат, от которого лиловеет воздух, — приходил август. По большаку проехала коляска, — в коляске сидела женщина в лаковых городских туфлях (туфли блеснули заходящим солнцем), красивая, немолодая уже, — кучер был в пазлиньих перьях. Шура медленным взглядом проводила коляску.

— Вот это — та женщина, ради которой бросил нас Готфрид, — сказала она.

Фрау Леонтина ничего не ответила. Она шла вперед. Они долго молчали, идя рядом. Тогда фрау Леонтина спросила:

— Шура, вы помните, еще в городе, когда у нас жил Алексей... Каким образом тогда получилось, что письма, компрометирующие вас, письма Алексея, вы переслали через Готфрида, незапечатанными, дав их прочитать Готфриду?..

— Тогда, в ту его поездку, я сошлась с ним, — сказала Шура.

Опять шли они молча. Небо давно уже померкло, земля августовски посинела, захолодела. Около мызы, у ворот, фрау Леонтина сказала:

— Судьба сделала нас товарищами, Александра. Но вы должны завтра уехать — навсегда. Слышите — навсегда!..

Свет в этот вечер на мызе потухнул ровно в десять часов, — но Саддердинов не спал в эту ночь, прислушиваясь к тишине дома. В комнате фрау Леонтины было беззвучно, — и далеко за полночь из комнаты Шуры послышались рыдания, Шура причитала, как причитают русские бабы: — «...девочки мои милые, доченьки мои милые...» — Комната фрау Леонтины осталась беззвучной.

Наутро Шура уехала в город, к поезду в Москву навсегда. Они поцеловались на прощанье. Фрау Леонтина

сказала: «Мы — товарищи, Александра». Через месяц, сентябрьскими распутицами, вернулся к фрау Леонтине Готфрид Готфридович — плакать старческими слезами, мучиться, опохмеляться: ту женщину, с которой он жил последнее свое лето, помещицу Соловьеву — убили крестьяне, спалив ее усадьбу. Готфрид Готфридович пришел, а не приехал, к фрау Леонтине — ночью, в сбитых ботинках, в придорожной грязи. Наутро тогда Саддердинов поехал в город за вещами Готфрида Готфридовича, привез немецкие его чемоданы. Готфрид Готфридович сидел в кабинете, не выходя оттуда. Саддердинов, втаскивая чемоданы, видел, как Готфрид Готфридович подпер ладонями голову, закрыв пальцами глаза, перед письменным столом, на котором не было ни одной книги.

Глава третья рассказа — есть глава заключений. Время этой главы текло в десятилетия русской революции, — и оно выглядит столетием новых геологических эпох. Из сломов эпох — текут новые реки, и в них истлевают старые.

Сентябрьской распутицей вернулся на мызу Готфрид Готфридович. Революция сочла мызу — культурным хозяйством, под мызой было только двенадцать десятин земли, — и немцев не выселили с мызы. Готфрид Готфридович — тогда вернувшись, ни разу не вышел с тех пор — не только с мызы, но и из дома: что русскому на пользу, то немцу вред: революция его сломала — или еще что?.. — Исчезали соль, хлеб, мясо, свет, деньги, заматывались дороги, знание заменялось шопотом, здоровье выковывалось тифами, слова заменяли дела: Готфрид Готфридович расхварывался на несколько дней, сваливался в постель, когда при нем говорили о революции. Его лицо судорожно искажалось в боли, когда он видел новый листок газеты, новым правописанием. Он очень много читал: он читал по-русски: он наизусть запомнил

Щедрина и каждый день перечитывал «Русские ведомости», комплекты которых собирались аккуратностью фрау Леонтины. Стилизовать его время, остановившееся в сентябре 1917 года, — не стоит: не стоит утверждать время стариков, которые плачут оттого, что кофе — ячменный и к кофе нет сахара, — которые цитируют Щедрина, начетчески, как раскольники. Логово таких стариков неминуемо должно быть пролежено: и в чистоту обихода фрау Леонтины вплелся запах старческой неаккуратности, валенок, плохого табака.

Все ушли с мызы, кроме татарина Саддердинова: он и фрау Леонтина вели хозяйство. Фрау Леонтина сшила себе овчинную кофточку, чтобы выходить на скотный двор. Девочки росли. Фрау Леонтина воспитывала их. Татарин Саддердинов знал больше слов по-немецки, чем по-русски. Девочки говорили по-немецки и одинаково плохо — по-русски и по-татарски. Младшая девочка имела от рождения бельма на глазах. Она ничего не видела. Обе девочки были аккуратнейшими «мэдхэн». В это время возникли вторые — детские — лыжные следы: в сумерки фрау Леонтина брала с собой старшую пойти на лыжах по откосу к Оке. Все дороги к мызе замело.

Очень тогда заметало метелями дороги. Каждое утро тогда надо было откапывать мызу от снега, снежные строя траншеи. Неделями ни единый человек не приходил на мызу. В доме не все комнаты топили. Готфрид Готфридович в своем кабинете сидел — в валенках и шубе — над Щедриным, обросший бороною. — Однажды приходила баба из соседнего села, сказала, что через село в селе — объявились людоеды и там голодный бунт, убили комиссара: это было так же далеко, как если бы фрау Леонтина прочитала детям о Робинзоне Крузо. И вдруг тогда в заповодни, прямо через забор проехав по снегу, подъехала пара к черепитчатому дому. И из

саней вышел — Готфрид Готфридович, тот в молодости, двадцать лет назад, — только что вернувшийся из Галле, бодрый, мужественный, — в прихожей он скинул шубу и предстал перед фрау Леонтиной — в черном костюме, в рыжих ботинках, бритый, круглоголовый, горбоносый — немец.

— Не узнаешь? — спросил он по-немецки. — Алексей Битнер, твой племянник!

В дверь высунул голову — настоящий Готфрид Готфридович, в шубе на плечах, в валенках на кальсоны.

— Большевик?! — крикнул-спросил Готфрид Готфридович подлинный.

— Да, коммунист! — ответил Готфрид Готфридович Алексей. — Тут у вас голодный бунт — —

Готфрид Готфридович подлинный присел в дверной щели, хихикнул, показал «нос», подставив раскоряченные ладони к собственному носу. Он сказал, хихикая:

— Убирайся вон! — и захлопнул плотно дверь.

— Не обращай внимания, Алексей, — сказала фрау Леонтина.

В прихожую выбежали девочки, одна вела другую.

— Вот мои дети, — сказала фрау Леонтина.

Готфрид Готфридович подлинный ни разу не выходил из кабинета, затаившись в нем. Остаток дня прошел в пустяках, с детьми. Вечером фрау Леонтина и Алексей сели на тот самый диван, который был в губернском городе в комнате Алексея.

Они стали вспоминать. В эти часы, за тысячеверстными снегами, чуть-чуть спуталось время, восстановив субординации дальней той губернской зимы.

— Все в прошлом, — сказала фрау Леонтина. — Но у меня есть дети: — значит — все в будущем, потому, что я делаю достойных людей.

Алексей взял руку фрау Леонтины, почтительнейше ее поцеловал.

— Можно, как в старину, положить к тебе на колени голову? — спросил он. — Можно говорить совершенно откровенно?

— Да, — ответила фрау Леонтина.

Алексей не положил своей головы к ней на колени: ее голову он привлек к себе на грудь, седеющую ее голову, — прикрыл ее руками, шопотом сказал:

— Леонтина. Я все знаю. Я встретил Шуру Белозерскую, она мне рассказала о твоих детях... Я ничего не хочу говорить. Я преклоняюсь перед твоим мужеством. Эти дети могли бы быть моими детьми, — ты это знаешь? —

— Да, я знаю, — сказала фрау Леонтина.

— И знаешь ли ты, — теперь, через десятилетия, — мне иногда кажется, что у нас был роман, о котором я никак не знал тогда, когда он был.

Фрау Леонтина прижала свою голову к груди Алексея, — она сказала не сразу:

— Да, это было так, — тихо сказала фрау Леонтина.

Алексей нашел губы фрау Леонтины своими губами: губы фрау Леонтины дрогнули. Она встала и поправила пояс белого своего платья. Алексей тоже встал. Они посмотрели друг на друга. Алексей отвернулся.

— Поздно уже, я пойду к девочкам спать, — сказала фрау Леонтина и улыбнулась. — На хуторе у меня живет татарин Саддердинов. Он живет у меня тринадцать лет. Он любит меня, я это знаю, но он не знает этого... — Фрау Леонтина помолчала. — Слушай, а где Шура?

— Шура в Москве. Каждый вечер на трамвае она едет из одного пригорода в другой, в рабочие клубы, и там читает лекции о новом быте, о красоте, о советской литературе. Должно быть, она пишет стихи. Подол ее

длинной юбки почему-то всегда мокр. Она очень хороший, очень неглупый и очень, очень несчастный человек.

— Мы с ней — товарищи, — сказала фрау Леонтина. — Но я не хочу ее видеть. Спокойной ночи.

Наутро Готфрид Готфридович Алексей — уехал.

В зиму двадцать шестого — седьмого годов, в раздумнейшие тридцатые годы российского XX столетия, к двум парам лыжных следов присоединились третьи: в зиму двадцать пятого — шестого фрау Леонтина, продав корову и свиней, ездила с младшею слепенькой Марией — в Москву. В Москве профессор Ауэрбах сделал Марии операцию, — и Мария — прозрела, чтобы на одиннадцатом году своей жизни увидеть лица — жизни и матери, знаемые наощупь: она увидела тогда, впервые открыв видящие глаза, что лицо фрау Леонтины — все в мелких морщинках старости и — счастья. Мать и дочь вернулись на мызу: к лыжным следам присоединились третьи.

...Три лыжных следа идут под гору, к Оке, оттуда обратно в гору. Следы прямые, как полет стрелы. На лыжах прошли три женщины — старая и две девочки. День декабрьский, морозный, снег сыплется, не мнется. Поочье. — Сумерки сменяются ночью, — ночью мимо лыжных следов, чего доброго, пройдет волчица со своими прибыльями, поднимется на холм, обогнет «немкину усадьбу», повоюет на черепицы. — Но ночь сменится рассветом, и тогда поднимется солнце, всякий раз новое, потому что каждый новый день несет — новую жизнь.

Москва,

14 января 1927 г.

БЕЗ НАЗВАНЬЯ

I

Очень трудно убить человека, — но гораздо труднее пройти через смерть: так указала биология природы человека.

...Перелесок осиновый, сумерки, дождик. Дождик капает мелкий-мелкий, серый, сырой. Осины пожелтели, шелестят иудами, сыплют мокрые листья. Дорога идет из овражка, в овражке сломанный мост, мочежина. Поле подперло к перелеску, развороченное картошкой. Дорога прошла осинами, колеи набухли грязью, дорога вышла в поле: на горизонте торчит церковная колокольня. Перелесок упирается в настоящий лес, этот треугольник иудиных виселиц. Сумерки, мелкий-мелкий моросит дождик. Облака, должно быть, цепляются за вершины осин. По мосту, по дороге в осиннике, по картофельному полю — не пройдешь: нога вязнет в грязи по колено. Но вот сумерки налились каракатичной кровью ночи, тушевым мраком, и ничего не видно...

И через десятилетия, чрез многие годы всяческих дорог — навсегда в памяти остался этот перелесок в сумерках и дожде, проваливающийся во мрак, в котором ничего не видно: навсегда осталось в памяти такое, где ничего не видно. Вечерами, после улицы дня и после рек московских улиц, надо подниматься лифтом

на третий этаж Первого дома Советов, того, что на углу Тверской и Моховой. В комнату, если не зажигать электричества, идет синий свет улиц, в синем этом мраке над Кремлем, над зданием ЦИКа плещется красное знамя: знамени не видно, виден только багровый этот красный цвет в черном небе. И миллионный город несет в этажи Первого дома Советов осколки своих рокотов...

II

Все это было двадцать лет назад.

Героев в этом рассказе — трое: он, она и тот третий, которого они убили и который стал между ними.

Этот третий — был провокатором. Этот третий был человеком, продававшим за деньги людей на виселицу, продававшим революцию, ее идеи и ее честь. Он и она вызвались убить этого человека, для которого не было иного имени, кроме мерзавца. Это были дни разгрома революции 1905 года, — и суд над негодяем должен был быть жестоким: побеждаемым не о чем было разговаривать, когда их же брат продавал головы на виселицы, груди под пули и годы человеческих мук на тюрьмы и ссылки, — и разговоров не было.

Она никогда не видела в лицо этого провокатора. Из подполья она поехала в деревню к деревенскому своему отцу — дьякону. Был июнь месяц. Он — имя его Андрей — приехал к ней в качестве жениха. Всего этого не знал третий, провокатор, не знавший легального имени Андрея. Третий должен был приехать на станцию, лежавшую верстах в пяти от дьяконовой деревни, для связи и встретиться с Андреем в лесочке, что первый направо от шпал, за овражком.

Был июнь месяц. Как, какими словами рассказать о первой любви? — любви, белой, как ландыш, и тя-

желой, в весенности своей, как гречневый цвет, той тяжестью, которой можно перевернуть мир, — любви, не знавшей ничего больше рукопожатья и общих — на мир — вперед — глаз, — любви (и он, и она знали об этом, выверив это двадцатилетием) той, которая бывает (и навсегда остается) единственной. Был сенокосный июнь в коростелиных сумерках: развевались оржаным ветром оржаные ее волосы, и обдувал ветер белое ее платье, чуть тяжелеющее от вечерней росы, — и широко был расстегнут ворот вышитой его рубахи, и непонятно, каким образом держалась у него на затылке мятая его фуражка. Дьякон в палисаде, после сенокосного дня, глупейшие нравоучения читал о семейной жизни и в наивной хитрости расхваливал, как купец товар, качества своей дочки. При дьяконе весело они играли во влюбленных. Дьякон уходил в сарай спать. Они шли в поле. И, сколь при дьяконе нежно руку клала она ему на плечо, — в поле здесь шли они на аршин друг от друга, в любви, как мартовские льдинки под ногою, и в разговорах — не ниже, чем о Бокле, хоть старый Бокль тогда уже и устарел. Ни разу не говорили они о том, что они должны убить.

И пришел день, когда в сумерки он сказал, что сегодня ночью они: должны пойти. В этот день они легли спать с курами, — и через час после того, как улеглись они спать, встретились они за овинами в сосняке. Попрежнему на затылке была его фуражка, — из мрака возникнув в белом платье, синев во мраке, подошла она в белом платочке, монашески повязанном. В руках у нее был увелок.

— Что ты несешь?

— Взяла хлеба ва дорогу.

И тогда он поправил фуражку на голове, ничего не сказав. Она взглянула на него, наклонив к нему свое

лицо? Она выпрямилась, медленно развязала платочек и бросила в сторону в кусты куски хлеба. Он ничего не сказал.

Сказала она:

— Пойдем.

И они пошли лесною тропинкой, молча. Лес пахнул медами июня, кричал вдали филин, тесною стеною стояли деревья. Они шли рядом, плечо в плечо, молча. Подавал иной раз он ей руку, чтобы помочь, и доверчиво брала она его руку. Надо было спешить к ночному поезду, и они шли торопливо, ни на минуту не приходили к нему мысли о том, что он — тем револьвером, что лежит у него в кармане — должен через час у б и т ь ч е л о в е к а, потому что он знал, что он должен пристрелить г а д и н у, переставшую быть для него человеком. Что думала она — он не знал, как не узнал никогда. Она шла рядом, его единственное, его любовь, его гречишные тяжести, — голова ее в белом платочке была упрямо наклонена, так же, как тогда, когда вызвалась она пойти убить провокатора. — Из леса они вышли в поле. Вдалеке в поле возникли огни станции, и быстрее заспешили они, — он шел впереди, и шаг в шаг шла она за ним. Они подошли к осиновой косе. Шелестели иудинно осины, черной стеной стал за осинами сосновый лес, пахнуло с поля картофельным цветом, — горели в вышине блеклые звезды на пепельном российском июньском небе.

Здесь они остановились. Здесь, в этой осиновой косе, должна была остаться она, он должен был пойти к соснам. Вдали прошумел поезд, отошел от станции. Было еще свободных десять минут. Он сел на траву, около осины. Покорно села она рядом.

— А правда, неплохо было бы съесть кусок хлеба, — сказал он.

Она ничего не ответила.

— У тебя револьвер в порядке? — спросил он.

Она молча протянула руку, в руке зажат был револьвер.

— Ты будешь стрелять, если мне не удастся убить. Если я буду тяжело ранен, ты дострелишь меня, — сказал он.

Она наклонила голову в знак утверждения, ничего не сказав.

Больше они не говорили. Он закурил папиросу, выкурил ее в кулак, крепко отплюнулся, поправил фуражку и встал. Она тоже встала.

Он протянул ей руку. Она слабо сжала его руку, потянула ее к себе — и покойным девичьим поцелуем поцеловала она его в губы, первый и последний раз в их жизни. Вновь поправил он фуражку, круто повернулся и пошел во мрак осин. Прошед уже много шагов, он взглянул назад: он увидел белое платье, ее, побежавшую от опушки вниз в овражек, к мосту, к ольшанику, бежала она широкой решительной побегкой. Он пошел дальше, к соснам. Кричали в поле коростели, и глубоким покойствием шла ночь.

С насыпи в туман овражка, к соснам пошел третий, человек в соломенной шляпе, в пальто. Этот третий пошел к соснам. Этого третьего встретил Андрей.

— Это ты, Кондратий? — спросил третий Андрей.

— Да, это я, — ответил Андрей. — Пойдем.

Они пошли рядом. Андрею показалось, что этот третий идет так, чтобы все время быть сзади Андрея, а когда Андрей клал руку в карман, тот подходил вплотную.

— Что с тобою, Кондратий? — спросил третий.

Андрей ничего не ответил, — отступив шаг назад, выхватил он из кармана револьвер и в упор в грудь выстрелил в провокатора. Тот улыбнулся и сел на землю, беспомощно подняв руки вверх, в правой руке у него был

браунинг. Андрей выстрелил второй раз в это улыбающееся лицо. Человек мешком муки повалился навзничь. Андрей пошел прочь крупными шагами. Так он прошел шагов сто. И тогда вернулся к трупу, наклонился над ним, толкнул его ногой. Труп поправил неестественно подогнувшуюся ногу, лицо мертвецки улыбалось. Андрей еще раз толкнул его и осторожно, как люди, боящиеся заразиться, стал обыскивать его карманы. В это время к соснам подошла она, осмотрела внимательно убитого и Андрея, отошла к опушке, стала спиной к соснам.

Андрей подошел к ней, она молча пошла вперед. Так они и шли: она впереди, он сзади. Все версты они шли, не отдыхая. Над землей возникал рассвет, багровой зарею покрывался восток, месяц, поднявшийся к рассвету, новую посылал росу. Восход солнца предупредил торжественность тишины. Ни слова не сказали они друг другу за всю дорогу. Бесшумно они прошли в дом.

III

Никогда больше ни слова не сказали они друг другу с глазу на глаз. Наутро тогда веселым смехом она разбудила его, добродушнейшие глупости говорил дьякон за картофельным завтраком, нежной невестой ластилась она к жениху. Дьякон ушел, — они остались одни, — и они замолчали. Так прошло три дня тогда, когда пережидали они, чтобы замести следы, но за эти три дня даже вести не дошли до их села, — и на четвертый день дьякон отвез их на станцию, перецеловал крепко обоих на перроне, перекрестил, благословил, — и в Москве с вокзала пошли они в разные стороны, ни слова не сказав друг другу.

...Навсегда остались в памяти проселок, перелесок осенний, мост в овражке, картофельное поле. Осины

пожелтели, шелестят иудами, сыплот мокрые листы. Все разбухло от осенней грязи, и грязь налипаает на сапоги по колено... Но вот сумерки налились каракатичной кровью ночи, и все провалилось во мрак, в котором ничего не видно... — Этот осенний осиновый иудин перелесок остался в памяти не от той ночи, когда он убил здесь человека, ибо тогда был сенокосный, медовый июнь, — но от той, когда он, по странному закону природы, повелевающему убийце прийти на место убийства, — черными осенними сумерками пришел прокоротать ночь на том месте, где он: у б и л л ю б о в ь.

...Осенний перелесок, сумерки, дождик, — и потом мрак, в котором ничего не видно... Вечером, после улицы дня и после рек московских улиц, надо подниматься лифтом на третий этаж Первого дома Советов. В комнату, если не зажигать электричества, идет синий свет улиц, — и в синем этом мраке над Кремлем, над зданием ЦИКа плещется красное знамя, — то, ради которого погребен в памяти осиновый перелесок.

Узкое,

7 ноября 1926.

ВЕРНОСТЬ

Посвящая Марку.

Двадцать лет тому назад было подполье молодости, была революция, были явки в домах незнакомых, но родных людей, сходки в бурьянах кладбищ, митинги в пыли пригородных роц, — было двадцать лет отроду, была студенческая фуражка, было — не вера, но — знание, знание каждым мускулом и каждым лучом солнца, что мир прекрасен, труд прекрасен, жизнь — прекрасна, прекрасно человечество, — и все — впереди. На митингах в кладбищенских бурьянах надо было говорить всем сердцем о грядущей справедливости мира, о революции, — мира, против которого тогда восстал этот юноша, готовый обнять мир, — о революциях, которым этот юноша готов был отдать свою жизнь. Мир полицейских, жандармов, стражников, приставов — мир Империи — был враждебен и проклят, щетинился силою, бесправием, виселицами, тюрьмами, — и мир незнакомых домов, где были явки, где переутомленного человека кормили колбасой, поили чаем и осторожно укладывали спать на диване в столовой, иной раз двоих на одном диване, впервые встретившихся, — этот мир был миром братьев, миром справедливости, равенства, чести, где один за всех и все за одного, где нет слов «твое» и «мое», где направо тюрьма и смерть, налево — революция, ослепительная справедливость и тоже смерть, во имя справедливости.

Этот рассказ посвящен любви.

Как приходит любовь, как уходит любовь и что дано человеку любовью? — великое ли бремя дано любовью человечеству и человеку — или великая радость, когда тяжесть любви — есть счастье? — как надо человеку нести любовь? — Тогда, там, где справа и слева были смерти, надо было быть честным и чистым, как христианин пред причастием, остатки каторжной христианской морали считали любовь грехом, — и тогда там нельзя было думать о любви между мужчиной и женщиной, тем паче — о плотской.

И все же было у него в этом двадцатилетии однажды — только однажды, чтобы остаться в памяти на всю жизнь! — прекрасное наваждение. Он встретил ее на нелегальной квартире, и столовая в желтых обоях, где за столом человек в жилете читал «Русское богатство», превратилась в чудесность, чудесностью запомнившись на двадцатилетие, — и все превратилось тогда в чудесность: чашка чая, которую передавала эта девушка, слова, которые сказали они, его и ее дела, которые были и которые будут, — и весь мир провалился в чудесность, где море по колено, где мир по колено, и в этих высотах, где мир по колено, есть только она, ее слова, долетавшие из безмерных пространств, ее руки, передававшие баранки, ее косы, упавшие на грудь тяжестью спелых пшениц, голубые ее глаза, уходившие в бездонности — в безмерности пространств, где мир по колено. Толстый человек в жилете и с «Русским богатством» сказал тогда, что пора спать. Надо было одному остаться на диване в столовой. Миры перекраивались чудесностью бессонницы. Рядом спала — или не спала? — девушка, которая была больше мира. Он не знал даже ее имени.

Это все, что было в том двадцатилетии: жизнь сильнее человека и мудрее его, — это все, что осталось тогда

этому студенту на горькую и длинную память о чудесностях, которые бывают в мире, чтобы не повториться и чтобы остаться больною занозой на всю жизнь. — На другой же день тогда опять стали справа и слева смерти, его понесло по перекасти-полю подполья, из города в город, с завода на завод, с явки на явку, по сотням квартир, по путям и перепутьям революции, где направо рядом городской Империи, впереди ослепительная справедливость и — путь только один — налево. Круги революции 905-го года замыкались, — и путь налево привел вправо: этот юноша оказался в тюрьме, сначала в уездной, затем в губернской, потом в пересыльной, чтобы затем коротать свое время в Коми-области, где слово «зырянны» значит — «оттесняемые». И в уездную, а потом в губернскую и пересыльную тюрьмы, — приходила другая девушка, которую впервые он увидел в тюрьме и которая назвалась его невестой, присланная товарищами.

Дальше была жизнь.

Как приходит любовь, как уходит любовь, что дано человеку любовью? — великое ли бремя дано человеку в любви или великая радость, когда бремя любви есть счастье? — Риф коралловый на морском дне, как ржинка в поле, как зверь, как Земной Шар, миры и солнца, — все в этом космосе родится, чтобы жить, родить и — умереть. Человек живет, родившись, чтобы жить, родить и умереть. Все живущее живет, чтобы рождаться. Рождением у человечества правит любовь. И давно надо было бы филологам и иным словоделам позаботиться о разработке и переработке слова любовь, ибо слово любовь — есть рождение, слово любовь есть — любовь собаки к человеку, а человека — к водке, — во имя любви люди шли и идут на костры и виселицы, и в публичных домах «играют» — «в любовь». Но понятия любви путаются не

только многосмысленностью слова любовь. Каждая историческая эпоха создавала и создает свои понятия любви, и каждая историческая эпоха имела свои законы рождения. Двадцатые и тридцатые годы двадцатого века в России примечательнейше безэпоховствовали в законах рождения. Эпоха великой русской революции была все же мужской эпохой. Рушились классы и перестраивались общественные группировки, мужчины старых классов уходили в неги, женщины оставались для новых рук. Люди шли умирать и не знали своего завтра. Все теряли свое прошлое: одни во имя будущего, другие во имя прошлого. Редкий человек в ту эпоху не был трижды в супружестве и не имел множества любовниц и любовников, причем женщины выходили из этого — скажем, круговорота — к тридцати пяти годам, оставаясь вдовами, но мужчинам не были стыдны их седины и отеки живота. У тех женщин, которые рождали детей, дети собирались от разных отцов, и растили детей чужие отцы. Многоженство и многомужество моралью тех лет, в сущности, не порицалось. Для стариков было правило, почти закон: писатели, художники, актеры, общественные деятели, старики — рушили старые свои семьи и женились на женщинах, возраст которых бывал иной раз меньше возраста дочерей этих стариков, причем случалось, чтобы пятидесятилетние женщины выходили замуж за двадцатилетних юношей, за очень малыми и очень громкими исключениями, почти не бывало. Социальная биология — история — дает определение этой особливости революционной русской эпохи.

Дальше была жизнь.

Все в этом космосе живет, чтобы родиться, родить и умереть.

Тогда в мытарства тюрем приходила девушка, которая назвалась невестой присланная товарищами, — и она

вскоре приехала в Усть-Колым, в зырянское село, также сосланная. Через три месяца их повенчал зырянский поп. Через год у них родился первый ребенок. Через два года они были свободны с минусом шесть. Вся Россия хорошо знает эти минусы, три, шесть, все, — и они оказались в городе Томске, в Сибири. Революция была раздавлена, всероссийский городской покойствовал, — революционерам не приходилось даже зализывать ран. — Он, теперь муж и отец, навсегда был честным человеком и честно прошел все свои пути и перепутья, те, которые называются жизнью. — После университета, который называется село Усть-Колым, он окончил Томский университет. Минусы были отжиты, и в Петербургском университете он доцентствовал. Молодым профессором он профессорствовал в Саратове. — Так прошло первое десятилетие. Тогда была объявлена война, мировая. — У него была семья, начавшая уже отстаиваться в профессорских традициях, когда по воскресеньям пирог с капустой, для друзей, вторник — день жены, а суббота — вечер мужа — для всех, кто хочет забрести. Дети рождались дружно, и каждый к пяти годам знал русскую грамоту и лопотал по-английски: жена была недурной матерью и недурной профессорской женой. — И только глубоко в памяти было знание, что такой минуты, когда мир по колено, никогда не было у него с женою. — Психические субстанции людей возникают и отливаются в формы для времени — неизвестными путями: — Пушкин умер тридцати семи лет, уже в заповяди своей жизни, но человечеству навсегда он останется юношей и лицеистом, — Лев Толстой умер древним стариком, но человечеству он остался мальчиком, старцем с мироприятием ребенка, — этот профессор навсегда был гимназистом-абитуриентом, олимпиком, которому тесна гимназическая тужурка и надо расстегивать ворот гимназических уставов, гро-

вящих кондуитом, и у которого — мир впереди, ибо старый — гимназический — мир разлезается, как разлезлись штаны.

Февральская революция встретила профессора в университетской квартире, в тишине кабинета, где стены скрыты полками книг. — Октябрьская революция нашла профессора в Смольном институте, с маузером, деревянная ручка которого торчала из кармана летнего пальто. Половодья Октябрьской революции прошли для профессора так же, как для всех революционеров: фронтами, железнодорожными шпалами, верстами, которые вырастали в тысячи верст, тысячами верст, которые уменьшались в вершки. 1922 год застал профессора ректором одной из новых революционных высших школ. — Семья, как всегда, была работной, покойной, крепкой, — чуть-чуть холодной.

И тогда пришел 1925 год, двадцатилетняя годовщина половодных подполий. 1925 год в русской истории был половодным годом того развала, о котором сказано в лирическом отступлении этого рассказа. — Был буднич-ный профессорский, ректорский день; утром в восемь часов ректор принимал студентов и заседал в предметной комиссии; в десять — до часу — ректор был в ректорском своем кабинете; с половины второго профессор читал лекции; в шесть коммунист, общественный деятель, заседал в районном совете; в десять профессор шел в университет экзаменовывать студентов. — Был декабрь, светили на улицах фонари, мел около фонарей снежок. Профессор сошел с тротуара на улицу, пересек ее к бульварчику. Свет фонаря упал на лицо. И тогда окликнул его женский голос — давним студенческим именем:

— Сергей!

Профессор — Сергей — остановился. Он узнал сразу. Перед ним стояла — та, имени которой он не смог узнать,

которая двадцать лет назад на одну единственную ночь поставила ночь так, что мир был по колено, и эта ночь никогда не забывалась. Профессор знал, конечно, что ему — сорок, что виски уже поседели, — профессор, перегруженный работой, в строгом профессорском быте, в крепких хомутах времени и дел. Перед профессором стояла — не восемнадцатилетняя — тридцативосьми-летняя женщина, с глазами, радующимися встрече, но уставшими и поблекшими, — и прекрасными, и прекрасными для профессора.

...Давно надо было бы филологам и иным словоделам переработать, разработать слово «любовь». Любовь — есть рождение. Любовь есть — счастье. Любовь — — Двадцатилетие было скинуто со счетов времени — именно потому, что нельзя бросаться временем перед любовью и перед счастьем, ибо время уходит, и лучше поздно, чем никогда. И у него, и у нее были семья и дети. Она приехала из городишка, где ее время было закопано уездным врачеванием и зимними снегами. Она просто рассказала, что та единственная ночь — единственной была ее радостью, на всю жизнь, сделавшая жизнь не очень нужной. Они были уже стары для весенней любви: ее восемнадцать, его двадцать лет — канули в Лету. И у него, и у нее — были свои быты, традиции, усталости, привычки.

То, что было двадцать лет тому назад, оказалось, было единственным, ибо мир опять стал по колено, если может быть мир по колено ректору и профессору. — Они нашли силы порвать все. Он оставил свой профессорский дом, таким, как он был, с детьми, с женой, с традициями и друзьями, с книгами. Он переехал сначала в гостиницу, а потом на студенческий чердак, где позволяли ему жить те небольшие рубли, которые оставались у него сверх жалованья, ибо жалованье он оставил семье. Она пришла

к нему на студенческий его чердак, чтобы на керосинке поджаривать яичницу и одним-единственным для всего ножом резать колбасу, как в студенчестве.

Люди знают, что значит разорвать семью, которой двадцатилетие, где старшему ребенку семнадцать, а младшему — четыре, где быт уже зацементировался и где оставаемый — жена, муж — остается для умирания, для боли, для вдовства, ибо у него все позади, в величайшей несправедливости, — ибо легче убить человека, чем пройти через смерть. — И надо главы писать о той любви, которая была пронесена через двадцатилетие, которая нашла силы все порвать, стать половодьем, чтобы строить наново, со студенчества, — которая забыла о морщинках времени у глаз, остановила время: надо писать главы о верности, побеждающей время.

Но это не конец рассказа.

Любовь есть рождение, ибо человек пришел, родившись, родить и умереть. Через год у них родился ребенок. — И он, и она — имели детей, родили детей, любили детей, растили детей: и — вот тогда, когда родился этот новый ребенок, — они вдруг узнали, что, в сущности, они не знали — что такое — рождение детей. У него были дети от женщины, которую, оказывается, он не любил; у нее были дети от мужчины, которого, оказывается, она не любила. Этот ребенок родился от любящих, и из всех детей этот единственный, рожденный в большие человеческие заполдни, был подлинным счастьем рождения. Он, профессор, пришел к ней в больницу. Около нее в корзинке лежал ребенок. В глазах у нее было счастье. В глазах у него было счастье. И оба они знали, что мир прекрасен, смерть в этом мире побеждена, все в этом мире оправдано, и, поистине, все надо отдать за будущее, то, в котором будет жить этот единственный, рожденный

в заполдни, но рожденный в любви, любимый каждым мускулом и каждой кровинкой отца и матери, как солнце в молодости, — сын, кусок их самих, их повторение, — новый человек! — ибо мир есть — верность.

...Как приходит любовь, как проходит любовь?..

Ямское Поле,
12 декабря 1927 г.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

I

Жизнь познается так же, как философские дисциплины, всеми годами жизни: молодые философы должны знать все философские системы, чтобы остаться впоследствии верными одной из них.

Обе эти девушки не знали, что такое жизнь.

Этот город, по названию Оса, лежал в ста верстах от железной дороги, на берегу реки, льющей свои воды из северных российских лесов. Город был дробью, где делителем — гоголевский почтмейстер, а делимыми — мед-врач, военком, фининспектор, снега, радиопередача в клубе совторгслужащих, — делимые, делители, множители и множители могли перемещаться, но места применения логарифмических таблиц — не имелось.

В городе была тысяча человек жителей. Тысячи верст к северу от Осы и сто верст до Перми заставили почтовую городскую контору иметь при себе почтовую станцию, почтовых лошадей, как при Пушкине, — а стало быть, могли возникать в городе и истории станционного смотрителя повестей Белкина. Эти девушки не были дочерьми станционных смотрителей. Они кончали педфак. Последние два года, наряду с работой в комсомоле, они увлекались толстовскою теорией непротivления злу. Человеческие весны, как реки, должны разливаться поло-

водьями. Белесые туманы пермских летних ночей должны коверкать человецье половодное бытие, как пушкинские рукописи. Клуб совторгслужащих его радиокричателем и книгами из библиотеки определял жестокое бытие, утверждая, что за тысячами верст, где есть железные дороги, большие города, большие мысли и радости, есть то, что занывает и называется жизнью. Направо за городом лес, налево за городом лес, за лугами под городом таежная река: в керосиновых лампах клубных вечеров, уральских декаблей, пермских безнебных ночей радиокричатель шел Москвою, Большим театром, большими дорогами, — и во мраке за клубом совторгслужащих возникала тогда жестокая пустота ненужности, безвременности, ничтожности. Телеграфист Сергей Чемардин превращался в дон-Кихота и в станционного смотрителя и шел рядом до калитки дома, бессильный связать две мысли. Уйти — итти без оглядки, бежать — возможности не было, некуда было уйти, ибо версты ямских лошадей упирались в заборы поверстных рублевков, а дороги таег проваливались в топи, в болота, в комариные царства, в сплетни из-за дощатых заборов, более жестокие, чем комары.

Роль пушкинского гусара взяли на себя люди с аэроплана.

II

В этот город неожиданно-негаданно прилетел самолет.

И был такой день, когда в закате над лесами, над городом зарокотал самолет рокотом гордой бодрости и торжественности. Самолет полетел на город, трижды восьмерками пролетел над городом, все ниже и ниже, затем, став на крыло, погасив свой рывк, пошел к реке, блеснул в закате серебром своих крыльев и сел на воду, в плеске воды и в новом рокоте. К реке тогда побежал весь город, на рысях гремел оркестр клуба совторгслужащих. С само-

лета сошли двое, в шлемах, в кожаных куртках. Под звук оркестра они закурили и принялись за свои будни: один из них разулся, натянул резиновые штаны и полез в воду, чтобы пододвинуть самолет к берегу, другой вытаскивал из кабины вещи, вынес связку винных ягод, наткнутых на соломинку, развернул брезент. Слова председателя исполкома были смяты очень большой усталостью этих двоих, сошедших с аэроплана. Первый из пилотов вылез из воды, товарищ стянул с него резину штанов, оба растягивали брезент, чтобы покрыть самолет.

— Нам нужен милиционер для охраны, — сказал первый пилот.

Милиционеры сбежались к реке все до единого, и все готовы были караулить, вплоть до начальника милиции. Пилоты взяли свои сумки, подсумки, карабины, походную пишущую машинку и молча пошли к гостинице, оставив толпу у самолета. По лугам от города шла дамба, чтобы можно было пробираться к реке весенними разливами. На берегу реки были лесопильные заводы и помещался в двухэтажном доме единственный в городе трактир с номерами, где полагалось ожидать пароходов, ибо пароходы иной раз запаздывали на много суток. Пилоты пошли в этот трактир. Толпа на берегу добрый час рассматривала брезент самолета, пока не стемнело.

На трактирной террасе пилоты съели по три тарелки щей и половину буфетного заливного поросенка. Затем они вынули из своих чемоданчиков книги, газеты, бумагу, и первый защелкал на машинке. Часть тех, кто прибежал посмотреть самолет, переселилась в трактир, люди заказывали вторые дожины пива, чтобы горько выпить под самолет, воспринимая пиво горем, на дне которого спрятано счастье непонятого, пространств, стихий, владетели которых вот тут, рядом, — и они смотрели в сторону пилотов такими глазами, точно пилоты были пустым местом.

И тогда к пилотам подошел половой, харкнул, стрельнул глазом, сказал:

— Там вас две барышни дожидаются, спрашивают, велют выйти.

Две девушки, две педфачки, Катя и Маня, как тысячи русских девушек, в темноте ночи ждали. — Громкоговоритель, радио, романы Тургенева, теории комсомольской морали, толстовская теория непротivления злу, — ведь есть же, ведь есть же настоящая свободная человеческая справедливость, выброшенная за глупость и варварство будней. Люди с воздуха, люди из стихий: прийти и сказать — о том, что в этой жизни заборов города Осы и педфака скучно, ненужно, одиноко, — спросить о необыкновенном небе, — попросить, попросить во имя той справедливости и правды, которые над обыкновенными правдами и справедливостями, попросить, чтобы их подняли в воздух, в чудесность, — быть около этих необыкновенных людей, пришедших из необыкновенности. — Девушки превозмогали стыд, потому что они впервые около трактира ждали людей из трактира. Девушки спутали решимость реальность, потому что они спутали свои мысли и сердца, спутав свои руки в страхе, две подружки, увлекавшиеся всем, что подсовывали им книги и жизнь. Двадцать девических лет — чудесные годы румянца на щеках, кос за плечами, голубых и карих глаз, умеющих падать долу, девичьих рук, на которых еще не высохли чернильные — чистейшие у людей! — грязные пятна.

Половой сказал в темноту:

— Сейчас ужинают и заняты. Выйдут погода.

Маня сказала мужественно: — «Передайте, что мы будем ждать около аэроплана!» — и обе девушки спрятали свои головы в правду над правдами и в жаркий стыд.

Через час, когда июль совершенно закутал землю, пилот-второй выходил посмотреть самолет. Над лесом поднималась луна. Роса села на траву. Река темнела холодом. Девушки подошли к пилоту, пилот увидел те двадцать лет, которые принадлежали каждой из них, голубые и карие глаза долу, чудесное их волнение. Они заговорили вместе:

— Извините нас, вы очень заняты, но нам интересно познакомиться с вами, обо всем спросить, попросить вас показать аэроплан и все объяснить. Это можно или нельзя, чтобы вы нас подняли в воздух? Правда, вы летали в Париж? Мы вас очень просим, извините нас за беспокойство.

И пилот сказал:

— Покатать можно, отчего же. Подождите здесь, я посоветуюсь с товарищем. Мы сейчас выйдем.

Пилот-первый посыпал матрацы далматским порошком, расстегнув на себе все свои ремни и пуговицы. Пилот-второй сказал:

— Одевайся, Иван, пойдём. Это совершенно не рядовые искательницы приключений. Это две молодые девушки и очень хорошенькие, каждой по осьнадцать лет. Идем, Иван, я тебе очень советую.

Пилоты вышли под луну. Милиционер раскладывал около самолета костер. Девушки жались друг к другу, спутав свои руки. Пилоты подошли к девушкам устало. Второй сказал:

— Познакомьтесь, мой друг Иван.

Девушки серьезнейше протянули горячие свои руки Ивану.

Сказал Иван:

— Познакомьтесь, мой друг Евгений.

Девушки протянули свои руки Евгению. Евгений не выпустил руки Кати из своей руки. Карие Катинны глаза глянули умоляюще. Они пошли к самолету. Иван скинул брезент с самолета. Евгений помог девушкам взойти на крыло, чтобы пройти в кабину. Луна отразилась меж крылий. Иван подошел к милиционеру прикурить от костра.

— Кто эти такие? — спросил он милиционера.

— Одна дочка доктора, а другая фининспекторова. Девушки сидели в кабине, наслаждаясь мягкостью свиной кожи диванчика кабины. Девушки спустились на землю. Евгений принимал их на руки с крыла.

Маня сказала милиционеру в счастье:

— Завтра мы будем на небе!

Милиционер крякнул.

За рекой до города и на десятки верст направо и налево по берегу реки легли луга. Луна ушла в небо, повеленела. Эти четверо пошли в луга, по дороге к городу. И тогда на лугу началась — не очень сложная, в сущности, игра двух мужчин с двумя девушками, двух мужчин, множества возникавших с неба, многоопытных любовников, имевших на эту ночь несложную цель физически обладать этими девушками. Девушки не знали, что такое живить, ничего, кроме Осы, ибо эти люди с неба казались им необыкновенными людьми. Пилоты навыком знали несложную тактику действий. Надо было разъединить девушек, чтобы остаться двумя парами. Тогда надо было взять девушек об-руки, надо было говорить о небе, о полетах, о необыкновенности полетов и неба, о том, что завтра девушки это испытают, — и испытанными руками надо было — случайно — так касаться девушек, чтобы они физически возбуждались, девушки, самую природою предуготовленные быть бессильными перед инстинктами и обессиленные сейчас необыкновенностью. В темноте двадцати шагов ночи каждый из пилотов, в негромком своем ворковании,

слышал, как возбуждающее лекарство, смешки девушки, идущей с его товарищем, неровные смешки, те, которые приводят девушек к страсти. Тогда каждый из пилотов на шаг уходил в сторону от другого пилота, чтобы одна девушка не могла попросить помощи у другой в ту минуту, когда в безволие девушки придет ужас. Луна светила над лугами. Над землею стала тишина росы.

И тогда Иван тихо свистнул условленным посвистом. Евгений насторожился, глянул кругом и пошел к Ивану. Иван со своею девушкой шел к Евгению. Они подошли друг к другу, оба с руками на девичьих талиях. Девушки прямо посмотрели в глаза друг другу и опустили глаза: девушки были честны друг перед другом, — об этом они не говорили между собою, но *это* приходило наваждением, они были бессильны освободиться от рук пилотов, пилоты прикрывали знобкие их плечи своими тужурками, и девушки опустили глаза друг перед другом.

— Одну минуту, — сказал Иван и отошел в сторону с Евгением. — Я видел на дамбе человека, он спустился за дамбу, в нашу сторону. Заметь. За нами следят. Будь осторожен. — И Иван, и Евгений были пилотами русской гражданской войны, военными летчиками, люди с птичьими глазами. Иван говорил тоном солдата, заметившего врага. — Пойди, проверь. Я попасу твою девушку, не надо их спугивать. Револьвер с собою?

Евгений весело свистнул, вынул револьвер, прошел два шага в сторону и провалился во мрак военным разведчиком.

Птичьим глазом окинул Иван окрестность и подошел к девушкам.

— Евгений сейчас придет, — сказал он. — Мне показалось, где-то выстрелили. Он с дамбы осмотрит самолет. Видите, он прокрался под дамбой. Сейчас вы увидите его силуэт на небе, пад дамбой. Вон он, видите?

Девушки ничего не видели. Иван видел птичьим своим глазом Евгения на дамбе, ему показалось, что он видит и второго, побежавшего под дамбой от Евгения. Светила луна, от дамбы шла черная тень. Вернулся Евгений, сказал, — все в порядке, проходил мимо пьяный из трактира, храпит в канаве.

— Пойдемте в луга, — сказал Иван.

И опять началась несложная игра двух пилотов, шаг за шагом в разные стороны, горячие слова, неловкие касания, когда можно взять в руки девичью голову, закинуть ее в небо и, дыша в щеку и плечо девушке, говорить о том, что путь самолета — путь к звездам. И опять стали неровно смеяться девушки, бессильные пережить в себе смешки, идущие от холода той мути, которая поднималась под сердцем. Опять усердно кутали пилоты девушек в свои тужурки.

И опять насторожился Иван, обозлился, окликнул Евгения, отвел в сторону. — «Я видел, в трехстах шагах вон там перебежал тот же сукин сын, который тебе прикинулся пьяным. Он залег вон около тех кочек!» — Иван и Евгений по-солдатски присели к земле, чтобы видеть вдаль. Девушки задрожали в ознобе, тесно обнявшись. Темная точка вдали поднялась человеком, двинулась, перебежала, легла на землю. Луна зашла за облако.

— Непусти девушек, я его выучу, — сказал Иван и провалился в землю, побежал от кочки до кочки, пристылаясь к земле. Впереди был человек. Кочка встала на чело-веческие ноги и пошла навстречу. Иван залег в траву. Чужой человек караулил пилотов. Иван был более опытным разведчиком. Он перехитрил чужого. И когда чужой был в десяти шагах, Иван поднялся с земли и гаркнул:

— Стой! Кто там?

Человек упал на землю. Иван опустил предохранитель револьвера и опустил руку с револьвером в карман френча.

Светила тишиною луна. На земле лицом вниз, раскинув руки, лежал человек в чиновничьей фуражке.

— В чем дело?! — гаркнул Иван. — Коего чорта вы за нами следите?! — Встать!

Человек на земле не двигался, Иван ткнул его мыском сапога в плечо.

— Встать! — вновь крикнул Иван. — Подчиняться приказаниям!

Человек не двигался.

— Вы больны или пьяны! — сказал насмешливо Иван. — Если вы больны, я отправлю вас в больницу. Если вы пьяны, я отдам вас милиции. Встать!

Человек не двигался. Иван свистнул. Поспешно прибежал Евгений. За Евгением подошли девушки, в ознобе ночи и страха. И тогда человек на земле зарыдал, громко, навкричь. Его руки подобрались под его туловище, лицо ползало по земле, плечи судорожно втягивали голову.

Он закричал истерически, в плаче:

— Делайте, что хотите! Убивайте меня, отвозите в больницу, отправьте в милицию! Вы прилетели, вы завтра улетите и никогда больше не вспомните о нашем городе, какое вам дело до какого-то телеграфиста, который вот уже пять лет любит ее. Вы прилетели из неба, она побежала на вас, как бабочка на огонь, утром вы будете вспоминать историю, как отдалась вам глупая девушка, полюбила на одну ночь за то, что вы наврали ей, будто вы поднимете ее в небо! Убивайте, вы все равно убили, воры! Что вам до телеграфиста, который отослал сегодня ваши телеграммы вашим женам, который пять лет каждую минуту молится на нее, вот этой девушке, которая... Вы, вы завтра улетите, а я на всю жизнь останусь здесь и буду утешать вот ее, оплеванную вами, и буду посылать их письма к вам, в вымышленные ваши адреса, и буду охранять от тех

помоев, которые будут литься на них из-за всех калиток... Знаете ли вы, что эти девушки молятся на вас, воры, как вот я молюсь на нее? Вы знаете, воры, что вы украли всю мою жизнь?.. Убивайте меня, сдавайте в милицию! Насилуйте девушек!..

Человек с земли сел на корточки, боясь подняться под удары. Луна размазалась в слезах по его лицу. Он был совершенно трезв, он был пьянее сумасшедшего.

Маня сказала Кате, как тысячи русских Мань, когда в действительность возвращается город Оса, все калитки и заборы, вырастающие в закон помоев:

— Катя, это — Сережка Чемардин!

— Да, Катя, это я, который вас любит, а которого вы не любите, потому что он — телеграфный чиновник, беден, скучен, некрасив, неграмотен. Бейте меня, убивайте, я люблю вас!..

— Молчать, сукин сын! — колоколенным шопотом прохрипел Иван.

— Слушайте, подождите, в чем дело? — заговорил Евгений. — Как вы смеете клеветать на нас и на этих педфаковок? Как вы смеете думать, что красные пилоты — насильники! Я предаю вас суду за клеветничество! Как можете вы так говорить о девушке, да еще любимой, как вы говорите?! В чем дело?! К нам пришли две студентки, чтобы мы объяснили им для доклада систему самолета, ватем мы пошли их проводить до города, чтобы на них не напал бы какой-нибудь истерический болван вроде вас...

Евгения перебил его товарищ:

— Оставь, Евгений. Ну его к чорту. Пусть этот их дурак с ними гуляет, раз такое дело. Нам делать тут нечего. Идем!

.....

IV

...рассказ, подобный истории станционного смотрителя, кончен. Почтово-телеграфный чиновник, мазавший у себя на лице луну и землю, был единственно правым...

Направо за городом лес, налево за городом лес. Жестокие и долгие бывают зимы на пермском Урале, когда снег заваливает улицы выше заборов, закапывая человеческие жизни. Ночи тогда длинны и черны, ночи садятся на землю — даже в марте — тяжелым декабром. В керосиновых вечерах клуба совторгслужащих радиокричатель поет Москвою, Большим театром. Телеграфист Сергей Чсмардин расстегивает тогда свои овчины, чтобы не потеть в клубе. И позднее тогда, по дороге из клуба, телеграфист говорит о своей любви, о том, что тогда ночью, когда прилетали пилоты, он хотел убить себя и пилотов, чтобы оставить чистой Катю. И Катя говорит, глядя в мороз неба и на дорогу, упирающуюся в лес:

— Ах, Сережа, умоляю вас, оставьте, оставьте меня. На самом деле, почему тогда пилоты не убили вас?

Ямское Поле,
28 февраля 1928 г.

СМЕРТЕЛЬНОЕ МАНИТ

I

Пахнет июньское сено, в сущности, плохими духами,— и все же нет запаха сладостнее, в июне ночами горько пахнет березами, и рассветы в июне — хрустальные.

То, чем встретит земля человека, то навсегда остается ему. Алена родилась в лесной сторожке, где были небо, сосны, песок и река. Но по реке вправо и влево были луга, и Алена знала от матери своей, что желтый зверобой, июньского цветения, — бородавки со стеблей его и листьев настоенные, — идет людям от груди; что лапчатка желтая — от головной боли и простуды помогает очень; что тысячелистники розовые и белые — от порезов, от порезов же и столетник; что шалфей пряный — от зубов, от горла, от зубов же — ромашка, можно еще ромашкой вытравить из чрева ребенка; что мята сладкая — от хрипоты и груди; что чистотел невзрачный — оранжевый сок из корешков его — от бородавок; что сороконедужник строгий — от всех земных телесных болей; что единственная трава от змеиного укуса — цветочек незаметный, синий — звездочка; что чертополохом синим, колючим, что растет на откосах, изгоняют из изб чертей. Вместе с матерью собирала Алена эти травы пред сенокосом в июне, — все они июньского цветения, кроме чертополоха

кольного и синего, августовского. Вместе с матерью ставила на травах для зимы настойки.

В июне родилась Алена, и навсегда осталось в памяти у нее июньское сено, сладко пахнущее, и вся июньская сенокосная страда.

Девочкой же узнала она, что — смертельное манит.

Рядом со сторожкой проходила насыпь, и шел через реку железный мост, по которому, рокоча, пролетали поезда. Весной, в полоую воду, разливалась река, и люди ходили в заречье по мосту. Перед Пасхой, когда буйничала весна, таяли снега, слепило солнце и лес гудел птичьими токами, в ослепительный день проходил по насыпи студент, заречный барин. Был он молод и здоров, с фуражкой на светлых кудрях, в смазных сапогах, подходил к окошку, просил попить, смеялся.

— День-то какой, благодать! Тяга теперь какая. Через мост, значит, можно? — смеялся громко, беззаботно, красивый, молодой, здоровый, с расстегнутым воротом синей косоворотки и с капельками пота на белой шее. — Ах, благодать-то какая, тетка Арина!

Взглянул на Алenu, усмехнулся, сказал:

— Дочка, что ли? Красавица будет. Ой, красавица!

Мать называла студента по имени-отчеству, говорила ему, чтобы шел — не смотрел вниз, — вода по весне быстрая, закружится голова. Студент снял фуражку, потрянул кудрями и ушел. Дошел до середины моста и бросился в воду: чудом спасся, — нанесло его водою на старый бок, оставшийся от прежнего моста.

И вечером мать рассказывала дочери, что — смертельное манит, манит полая вода к себе, манит земля к себе с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд и с поезда. Девочкой не поняла этого Алена, — в тот вечер, когда шумело половодье и в открытое окно шел запах свежей земли. Но потом поняла, поняла уже девушкой:

через несколько весен сама стояла на мосту в половодье и чувствовала, что манит, — манит вода, — неведомое, смертельное, — и углубила, поняла, что смертельное манит повсюду, что в этом — жизнь, манит кровь, манит земля, манит — бог.

Девушка ходила за реку, на село, на гулянки, пела на откосе с девушками песни и водила хороводы, встретила парня и полюбила его, и быть бы свадьбе, но мать ее, Арина, вдруг заупрявилась, а потом покаялась дочери, говорила:

— Аленушка, ведь жених-то твой — родной твой братец. Грех... давно это было, молодая была, на сенокосе — согрешила с отцом его. Отец-то твой в солдатчине был. Грех приключился, — говорила тихо, шопотом, утирала кончиком платка уголки губ, некогда красивых.

Мать покаялась, а Алена перестала ходить на откос, проводила вечера около своей сторожки, ночами прислушивалась к перепелиному крику, следила за речным туманом и еще раз почувяла, что — смертельное — грех манит; грешное манит так же, как и святое, и рубежом всему — смерть.

Так прошла молодость, в избе под соломенным навесом, где были около небо, сосны, песок и река с лугами, с цветами и травами.

II

Потом была жизнь.

Любит каждый однажды, и всегда любовь несчастна, ибо иначе не может быть и должно так быть, потому что после любви человек становится подлинно человеком, потому что страдание очищает, красота и радость любви — в тайне ее. И никто не знал, как тосковала Алена ночами, молодая, одинокая, с молодым своим телом, — в июне, в июньские сенокосные ночи. Поэтому она осталась

и вековушкой, не вышла замуж до положенных своих двадцати лет, после которых редко берут уже девушку; поэтому не показывала никому и поминальной своей книжечки, где на первой странице было написано здравие раба божьего Алексея, первого ее жениха, кровного ее брата. Помогала матери в собирании трав, ходила за отца по рельсам с фонарем и зеленым флагом, прядла зимними вечерами на бесконечной прялке. Так было до двадцать четвертого года, остро начала тогда она чувствовать бога с смертельными его тайнами, ходила в церковь и молилась зарями, — ведь всегда религиозное связано с плотским, с телесным.

С тех пор, с того апреля, как мать рассказала о том, что смертельное манит, прошло пятнадцать лет. Из Алены-девочки стала красивая женщина, крепкая, румяная, широкая, с черными глазами, опущенными скромно долу.

Тот же молодой студент, что тогда смеялся и стоял под окошком с расстегнутым воротом, радостный и бодрый, — успел уже сильно разменять свою жизнь, так, как разменивали революцией ее многие русские бары: женился неудачно, метался с женой по России и за границей, все время тоскуя по тихой, разумной жизни; разошелся с женою нескоро и трудно, потратив на это все, что было отпущено ему для творения жизни; вернулся наконец в свою усадьбу, в Марьин Брод, поселился один в старом доме, зарылся книгами. Был он уже зрелым мужчиной, с бороною окладистой, с усталыми уже глазами и печальной улыбкой.

И Алена ушла к нему жить. Правила народа нашего строги и просты, — каждый родившийся должен по весне обвенчаться, родить и потом умереть; всем же отступившим от этого можно делать по-своему свою жизнь, — и не грех, если вековушка пойдет ко вдовцу в работницы, не грех, если ко вдове заезжают почтари со станции, — не

осудит никто: ведь цветет рожь и в цветении своем несет колосы, ведь ржут по весне в полях лошади, токуют на токах птицы и поют на откосе девушки.

Алена ходила в церковь к обедне, дома плакала потихоньку, потом взяла на плечи сундучок свой и пешком пошла за реку, в усадьбу Марьин Брод; уходя, остановилась в дверях, окинула взором избу, сказала тихо:

— Что же, прощайте. Ухожу.

И ушла, — никто не осудил, не понесла греха.

Опять был июнь. Во ржи в полях кричали перепела, небо было зеленым, солнце садилось на западе, и на востоке стал хрустальный серп; шла тихо, срывала колосики и высасывала сладко-вяжущий сок из будущих зерен.

III

В усадьбе у Полунина прожила она пять лет.

Пришла к нему вечером, поставила в кухне на скамью сундучок, прошла в его кабинет. Полунин сидел у стола. Сказала:

— Вот я, пришла, — и, как мать ее, платком утерла уголки губ, еще красивых очень.

Полунин был из тех русских бар, что ищут правду и бога, и позвал к себе Алену он, потому что полюбил ее и еще потому, что думал в ней найти правдивое и естественное, отдохнуть с ней и создать жизнь правильную и крепкую. Они жили вдвоем в усадьбе, сами справляли хозяйство. Полунин учил Алену грамоте и читал с ней Жития, сам увлекающийся ими, ищущий подлинно-русское.

Через полгода у них родилась дочь Наталья, — и Алена предалась ребенку, в нем и через него чувствуя жизнь. Была жизнь ее проста и сурова, как жизнь и Полунина, — вставала с зарей, молилась богу, шла доить коров, гото-

вила к обеду, снова в полдень доила коров, была с ребенком, кормила его, пеленала, мыла. Никто к ней не ходил, не ходила и она никуда, кроме церкви. Зимой заметала их метелица, весной к самой усадьбе подходила река, осенью шли дожди и стояли пустынные, ясные, холодные дни. Полуниин сидел за книгами, рубил дрова, говорил о правде и — не примечал, верно, что слова его о добре иной раз были черствы и злы, — люди стареют.

Год сменялся годом. Весны многое творят в жизни человеческой, — у Алены был еще июнь, пахнущий травами, с горьким березовым рассветом и с хрустальным серпом над горизонтом. Девочка Наталья умерла.

Смертельное — манит. Девочка Наталья умерла в апреле, и жизнь Алены стала пустой. Бог всегда был с нею — у нее в сердце. Хоронить ходили с Полуниным через мост, — разлилась река. Оттуда шли молча, рядом, на мосту остановились на минуту, — верно, каждый вспомнил о своей молодости, — пошли тихо дальше; в доме было сыро, пустынно и темно.

И когда подошел июнь, Алена решила — итти. Смертельное — манит, манит броситься с моста в полую воду, манит — вдали, в конец, чтобы итти, итти, — и есть люди, которые уходят.

Сзади была жизнь, в которой остались июнь с его травами, жених Алексей, дочь Наталья, быть может, Полуниин, материна тайна, — впереди осталось смертельное — бог и дорога.

Утром сказала Полунину:

— Ухожу завтра, прощай!

— Куда уходишь?

— Так... в монастыри... куда придется... в святые места.

И ушла, отнесла сундучок свой к матери в сторожку, а на рассвете вышла, шла полями, ржаным морем, раску-

сывала сладко-вяжущие ржинки, смотрела в небо, шла от креста колокольного ко кресту, чуяла, — чуяла, как пахнет июнь, и думала, глядя на дорогу, что подорожники — от пореза, от лишаев, что синенькие звездочки — от змеиного укуса.

В монастырях молилась, — вынимала просвирки: за упокой...

Согрешила только однажды в монастырской гостинице, в темном коридоре; сладок грех около бога, и смертельное — манит.

Март 1918.

ЗЕМЛЯ НА РУКАХ

Летом, в начале июня, в провинциальных русских городах надо с утра открывать окна, чтобы по комнатам бродил воздух, гонимый июньским тихим ветром. В комнатах тогда прохлада и зеленый свет от лип и кленов старого сада. Дикий виноградник террасы зеленью своею прячет золото дня. В такие дни человек дружен с землею.

И было такое утро, когда муж сидел за письменным столом, около открытого окна, в дальнем от двери на террасу углу, за бумагами и мыслями, — а жена в золоте утра рылась в саду около цветочных грядок в кустах сирени, жена заходила иной раз на террасу, в косынке, с руками, отставленными от бедер, чтобы не замарать платья. Очень, очень редкое счастье — быть в дружбе с землей. Очень, очень редкое счастье — счастье супружества, любовь, доверие и верность. Это счастье было в этом доме, доверия, дружбы, любви, соработы. Это счастье может быть только у благородных по мыслям и помыслам людей, — и эти люди были достойными, простыми, работными людьми, он — социолог-писатель, она — художница, люди, встретившие друг друга, когда ему перевалило за тридцать пять и ей — за тридцать. Есть сладостный отдых, утомляющий мышцы, — рыться в земле, рассаживать табачки и резеду по грядкам и тащить из грядок всякие сорняки, — чудесно знать, склонившись над зе-

млей, что здесь, в этой земле, возрастает тобою посаженное. И муж, прежде чем сесть ко книгам, рылся около жены на грядках. С книгами от письменного стола пришли привычные мысли, цифры, сопоставления, цитаты, несогласие, формулы, — пришел подлинный труд, те часы, когда у ученых, как у художников, глаза становятся совершенно рассеянными, невидящими и совершенно безразличными к миру, вне книг лежащему.

В этом безразличии муж слышал, как через незапертую калитку во двор вошел незнакомый человек, кажется, в широкополой шляпе, кажется, с чемоданчиком. Пришедший сказал через окно, что ему надо видеть Анну Андреевну. Муж ответил, не поднимая головы от бумаг, что она в саду. В этом безразличии он не замечал, через сколько минут жена вошла через террасу в комнату, с руками, замазанными землей, в сторону, в сопровождении незнакомца. Лица жены он не помнил. Незнакомец поклонился. Незнакомец сказал:

— Разрешите, я хотел бы еще несколько минут остаться наедине с Анной.

Сказала Анна:

— Да, мы пройдем с Сергеем ко мне в комнату, Павел.

Муж опять не видал лица жены. И опять прошли какие-то минуты, когда глаза безразличны для мира и когда мир укладывается в книги. Анна вышла из своей комнаты. Павел поднял пустые глаза, и он увидел, что руки жены, попрежнему измазанные землей, беспомощно заломлены, а глаза ее полны слез беспомощности. Мир вещей вернулся к Павлу.

И тогда заговорил незнакомец. Анна стояла спиной к ним обоим, в дверях террасы, — золото дня, кроме виноградника, обрезывалось ее плечами.

— Павел Андреевич, — сказал незнакомец и долго молчал. — Павел Андреевич, мы оба — не воры. Мною

движут человеческие чувства. — Он помолчал, чтобы собрать мысли в точные фразы. — Тринадцать лет я не видел Анну — и все эти тринадцать лет я мечтал и думал о ней. Вы знаете, мы расстались с ней в Париже, когда и русским солдатом пошел на французский фронт. Вы знаете, ее молодость прошла со мною, — и вы знаете, что ни она, ни вы не можете ни в чем упрекнуть ее. Земной Шар пока еще достаточно велик, чтобы можно было заблудиться в нем. Я пришел к Анне, когда за вами уже восемь лет супружества. Мы уже очень взрослые люди. Я не знаю, что мне предложить вам. Что скажете вы, Павел Андреевич? Я не знал, что Анна замужем.

Перед Павлом стоял человек, память которого была свята в их супружестве, первый муж Анны, достойный человек, — стоял старик, седовласый художник, некогда учивший искусству живописи и достоинству жизни девушку Анну. Глаза этого старика были добры, они любяще и непонимающе смотрели на Павла, — они не могли смотреть иначе, потому что в комнате была женщина, любимая, единственная и потому, что этот человек был добр. Павел вспомнил, что он так же сед, преждевременно поседевший за годы русских бурь, и так же добры, бесильны его глаза, природою сданные в доброту. Друг перед другом были два человека, очень похожих друг на друга, — не даром и того и другого любила Анна. У Павла память рассказов Анны о Сергее, о молодом и чудесном художнике, о человеке солнечной ясности и строгости его сердца, — память рассказов путалась этим добрым стариком, смотрящим любящими и усталыми глазами. Человек этот вернулся из смерти. И Павел сказал растерянно:

— Как вы изменились, Сергей... Сергей Иванович!

Оба мужчины улыбнулись друг другу, очень растерянно. Павел протянул руку. И сжав руку, задержав

руку, — позвонком, нервной дрожью в плечах около лопаток он ощутил — себя, Анну и этого лучшего. Анна любила в своей жизни только их двоих, чистая женщина. Анна чтילה память Сергея, как чтил и он, Павел, эту память о человеке, любившем его жену, о котором у Анны хранилась бумажка пехотного французского полка, удостоверяющая, что русский художник, рядовой этого полка Сергей Иванович Лавренев, погиб в бою под Верденем. Самое тайное и самое святое, — особенно тайная и особенно святая, когда она чтится, — любовь, — она была между ними троими. Первая любовь жены была отдана Сергее, — последняя любовь была взята Павлом. Павел чтил память Сергея, — он вспомнил, что в чувствах бережливости к жене, — никогда за годы их любви, ни разу не спрашивал он о чувствах жены к Сергее и никогда не сопоставлял себя и его, оберегая его память. Павел держал руку Сергея. Жена, — и позвонком, дрожью в плечах Павел почувствовал, что от этой минуты он не может даже в мыслях называть Анну — женой, ибо на самом деле он — не вор, как сказал Сергей.

Он долго держал руку Сергея. Глаза Сергея были неподвижны. И Павел сказал:

— Да, Сергей, конечно, я не вор.

Анна повернулась к ним. Анна подошла к ним. Ее руки окаменели, откинутые от бедер. Глаза ее были полны слез. Сергей протянул к ней руки, ладонями вверх, — глаза Анны упали, — Павел понял, что это привычный жест Сергея, который Анна знала раньше. И он опустил глаза, как опускают люди глаза в стыдливости, чтобы не видеть того, что не надо видеть. Анна поняла опущенные глаза Павла, — и руки ее потянулись к Павлу. Павел этого не видел. Анна осталась с протянутыми руками.

— Я пойду вымою руки! — крикнула Анна.

— Пойди, — сказал Павел.

— Анна, Павел Андреевич, — заговорил Сергей, и губы его дрогнули физической болью, — Анна, милая Аннушка, — если ты велишь, я сейчас же уйду, опять навсегда, Аннушка... Да, я очень постарел, Павел Андреевич, очень постарел.

Анна села в бессилии на стул около стола, забыв о руках.

— Нет, что вы, что вы, — заговорил Павел. — Анна так много, так чудесно всегда рассказывала о вас, у нас есть ваши фотографии, и мне показалось, что... и ваш образ, который я создал... — что вы, что вы, Сережа! — Павел назвал Сергея так, как он и Анна называли его, вспоминая о нем. — Нет, подождите, Сережа. Вы изменились только по сравнению с фотографией.

Руки Анны, замазанные землей, потянулись к Павлу точно тем же жестом, каким только что протягивал к Анне руки Сергей, — этот жест — Павел понял — Анна взяла у Сергея. Павел обе свои руки протянул к рукам Анны и поцеловал землю на руках Анны, черную, сырую землю поцеловал всею нежностью, какая была у него к этой женщине. Он стряхнул землю с губ. Он сказал, сам себе:

— Да, да, — земля родительница. — Нет, Аннушка, (он поймал себя на том, что назвал Анну именем, данным ей Сергеем), — нет, Анна, я не вор. Я понял сейчас, что я не могу тебя назвать женою так же, как и Сережа, наверное, — до тех пор, пока ты не назовешь меня своим мужем. — Павел еще раз стер землю с губ. — Как странно сдвигается время. Вот мы трое, как это сказать? — самое чудесное, что было в моей жизни, — вы это знали раньше меня, Сережа, — а я узнал то, что было священным для вас, что было вашей единственной тайной. Я не нахожу слов.

Анна поднялась со стула. Она стояла секунду неподвижно. Силы покинули ее волю. Шея ее задрожала тети-

вою, втягивая голову в плечи. Она пошла к Сергею, она обняла Сергея. Павел как и Сергей понимали: когда Анна протягивала руки Павлу, она защищала Сергея, — когда она шла к Сергею, она защищала Павла. И Анна заговорила, втянув голову в плечи, положив голову на грудь Сергея:

— Мне страшно, Сережа, — мне страшно, Павел. Как я ждала тебя, Сережа, — тогда, когда ты ушел на фронт, как убивалась я, когда получила в России весть о твоей смерти! — ты знаешь, как я любила тебя. Ты приехал, — как я рада. Нет, это не те слова, — ты вернулся, а не приехал, — ты — вернулся, — и я — люблю тебя. Но я же — люблю Павла, у меня есть сын, у нас есть сын, единственный мой сын, и больше у меня не будет детей. Мне очень страшно. Я ничего не знаю, Павел, слышишь? — я ничего не знаю.

Павел подошел к Анне, обнял Анну и Сергея, прислонил голову к плечу Анны.

— Аннушка, — сказал Павел, опять назвал Анну словом Сергея и не поправился, — Аннушка, любимая, ты знаешь, любимая, ты знаешь, что я, как Сережа, только счастья, только счастья мы хотим тебе, — ты знаешь — мы ждем, что ты скажешь.

Павел потерял слова в великой, прекрасной, благодатной любви к Анне, в благодарности человечеству за человеческое, за человеческое, создавшее Анну. Он замолчал, склонив голову. Вселенная — всем своим благородством и горечью — билась в его сердце. Он хотел взглянуть в лицо Анны, — и он не сразу разобрал ее черты: в комнате было темно, день померк за окнами. Та рассеянность безразличия ко времени, которая приходила к Павлу в часы его труда, — приходила к ним троем в этот час, когда трое они стояли, обнявшись, остановив время. Был белесый мрак белой июньской русской ночи. Земля сняла

свое золото. В комнате пахло левкоями. В саду пела малиновка. Лицо Анны, с закрытыми глазами, было бесильно. Ее руки, замазанные землей, беспомощно висели за плечами Сергея так, чтобы не замарать пиджака.

— Уже ночь, — удивленно сказал Павел. — Аннушка, пойди вымой руки, они у тебя в земле.

Павел взял руку Анны, Павел нежно поцеловал землю на руке Анны. Лицо Анны было счастливо. Анна пошла к двери в свою комнату, чтобы отмыть руки от земли. Окна в комнатах были открыты, и по дому бродил вечерний зеленый воздух. В такие часы человек дружен с землею.

Ямское Поле,
8 июня 1928.

ГОРОД ВЕТРОВ

I

Борису Пастернаку.

К югу от Старого Города, от Крепости, где до сих пор существует ханский дворец, не окончательно разрушенный временем русских, хансарай Ширваншахов, — к югу от Крепости, в море, под водою виден город, подводный Караван-сарай, крепость, затонувшая в море. Древние арабы создали легенду о затонувшем городе Сабайле, — и русские археологи находили под водою в утонувшем городе арабские надписи и арабские монеты, — но история утверждает, что эта часть города ушла под воду в XIII веке. В зеленой воде Каспия, в этой бухте, где вода играет радугой нефти, в прозрачности водных саженей видны камни мостовых, дома и крепостные стены и четыре крепостных башни, бойницы которых выпирают из воды. Здесь море пришло на землю, и земля ушла в море. — А в двустах саженях отсюда в Старом Городе в Крепости, — у башни Кыз-Кала, у Девичьей Башни, построен бык, чтоб рассекать морские волны: ныне под башнею бульвар, но люди, которым сейчас по сорока лет, помнят, как мальчишками под башнею они ловили удочками рыбу. Есть предание, что башня Кыз-Кала, семи-ярусная, была построена огнепоклонниками: это неверно, башня построена в двенадцатом веке. — В пяти верстах от Крепости в Биби-Эйбатской бухте квадратные версты

морского дна пять лет тому назад превращены в нефтяные промысла, в нефтяную землю, засыпаны землей: здесь человеческая воля сошлась с теми стихиями, которые тревожат земные недра и качают земные рельефы. Морское дно, оторванное у Биби-Эйбатской бухты, называется ныне промыслом Ильича, — но это не главное: на сотни квадратных верст вокруг города, вокруг крепости Ширваншахов, на землях, которые кажутся проклятием для человека, на желтых пустынях песков, в солончаковых терновниках и в соленосных озерах, — здесь из земли бьет жидкий огонь, горячая вода, нефть, которой пропитаны, пропахли, прогоркли все круглежачие горы, пустыни и вода. Эти места — человечески-древни, ибо даже в истории бродяжеств Александра Великого рассказано, как Александр сжег в Баку, в этой горячей воде, ни в чем неповинного мальчика, приказав поливать его этой горячей водой, фонтаном бывшей из-под земли, — только в семидесятих годах девятнадцатого века умер здесь последний индус из Сураханского храма огнепоклонников. Веками индусы приходили сюда поклоняться Огню. Сураханский храм цел поныне. Столетия подряд в нем горел неугасимый огонь, выкидываемый земными недрами. Ныне огонь потушен, ныне вокруг храма стоят сотни таргальных и насосных нефтяных вышек, нефтяные промысла. Здесь выкачивают из земли нефть: тот огонь, что горел столетиями в храме огнепоклонников, на ближайшей фабричке теперь превращается в бензин. Сюда, в эти места древностей, на Апшеронский переулук Каспийского моря, на большую дорогу времени, — понаехали, пришли сотни тысяч людей, рабочих и инженеров, русских, украинцев, азербайджанцев, персов, турок, немцев, — чтобы добывать недра, ибо в цивилизации человечества теперешней эпохи бензин и мазут — бензины, мазуты, газслины, гудроны, лигроины, машинные масла, мылонафт, пара-

фин, асфальт — кидают в небо самолеты, движут по океанам корабли и заасфальчивают дороги и улицы городов. Пустыня просоленной, занефченной земли, бывшей алтарем огнепоклонников, испугавшихся огня, земля, проклятая для естественной человеческой жизни, — на сотни квадратных верст исколота сотнями эйфелевых башен нефтяных вышек, десятки тысяч людей скважат и тартают землю, — чтобы: двигать человеческую цивилизацию!.. — а в чай-ханэ в Старом Городе персы и турки везут, вьют верей средневекового азийства, и оттуда в Персию уходят караваны верблюдов, товары на горбах которых покрыты чудесными ширазскими коврами, такими, около которых никогда не ютилась ни одна, никакая машина, даже стальная игла. На лилиях мечетей в Старом Городе зорями закатов перетряхивают метафизику Азии гортанные глотки мулл, — и если горбы верблюдов в караванах не покрыты ширазскими коврами, если спины верблюдов грязны и промаслены, — тогда значит, что караваны несут в пустыню — нефть, горячую воду, — несут ее в бурдюках из воловьих шкур.

II

У этого человека была русская фамилия, — русское имя, лицо россиянина, — и был германский паспорт. И этот человек ехал из Германии. Его судьба была отдана стихиям годов человеческих перестроек, начатых июлем 1914 года. Он навсегда помнил удушье вечера, начавшего его биографию, запахи сена в сарае, пороха и тари, — и колесной мази от телеги, под которой он лежал (той колесной мази — он не знал этого, — которая производится из нефти). Тогда в сарае из-под телеги он увидел немецкие каски, и лошади немцев стали есть сено, накошенное его отцом, и навсегда запомнился ус немецкого

драгуна, сказавшего Павлу тогда в сарае около телеги, откуда Павла вытащили за ноги, — на плохом русском языке: —

— Что же, малышка, ты поедешь к меня в гости? — Добродушнейший этот ус — навсегда остался благодарностью в памяти Павла Маркова. Через неделю тогда Павел оказался в немецком тихом городке, похожем на учебники истории, черепитчатокрышем и засыпавшем на ночь в восемь часов вечера. — Но унтер никогда не вернулся домой, убитый на российских нарочах, — и отрок Павел остался в доме унтера памятью и заветом проклятия войны. Отрок помнил русскую деревню, запахи овчины и мела в сельском училище, — отрок пошел в линейки немецкой школы. И так прошло десятилетие, засорившее русские памяти, научившее думать уже не по-русски, но по-немецки. Фрау Люиза стала его второй матерью. Отца у него не было, ибо подлинный его русский отец, оставшийся в нетях российских войн, был потерян неизвестностью, — немецкий же — был убит этой же войною. Ни сестер, ни братьев у Павла не было. Павел окончил обер-гимназию и поступил в горный институт. И в год окончания института, когда ему оставалось напечатать лишь докторскую диссертацию, Павел сказал второй своей матери, — о том, что он хочет поехать в Россию, чтобы найти следы своего русского отца, его память, если он умер. Павел не сказал тогда, как никогда не говорил фрау Люизе, о том, что все эти годы у него была одна мечта — найти отца: всяческая мечта, и глухой гордости за то, что вот он русский крестьянский мальчик кончает высшую немецкую школу, способный и примерный юноша, — тщеславной гордости, уже не российского, но немецкого происхождения, за хорошо сшитый костюм, которым он похвалится перед отцом, — и гораздо более существенной, решающей, биологической потребности уви-

дать отца, свою кровь, и увидеть Россию, свою родину, навсегда ни с чем не сравненных. У этого юноши, у которого не было отца, всегда при мысли об отце физической болью физического счастья сжималось сердце, — он знал, что он сирота, и знал, что самый счастливый час его жизни будет тогда, когда он встретит отца. Фрау Люиза волновалась за свою гордость. Сын заверил, что никогда — никогда! — не покинет ее, — и эта клятва была не немецкой, ибо сердцем Павел знал, что, нашед отца, ради воли отца — русским морем по колено — он бросит все, Люизу, институт, свое будущее, свои пути — и пойдет за отцом куда угодно, куда позовет отец. — Немецкий поезд выкинул Павла Маркова за пределы Германии. — Павел поехал в село своей родины. Ныне там была Польша. Там он узнал, что отец никогда не возвращался на родину, ушед отсюда русским солдатом. Соседи слышали, что отец в Москве. В своем селе Павел не нашел даже места, где стоял дом его отца, ибо село уничтожено было войною дотла. Павел поехал в Москву. В человеческом море человеку затеряться нетрудно, — но и тесна земля достаточно, чтобы не найти человека: и на складах архивов человеческих имен, в мыслях о том, что вот каждое имя этих адресных алфавитов есть человеческая жизнь, Павел нашел следы своего отца. До восемнадцатого года отец был в германском плену. До двадцать первого года отец был солдатом Красных армий. В двадцать втором году отец женился на женщине, родом из Баку. В двадцать третьем году отец выехал из Москвы с женою — неизвестно куда. Сын решил ехать в Баку и там искать — через жену отца, или через ее родственников, — там найти отца. Чтобы сжать время, Павел взял самолет. Аэроплан ушел из Москвы на рассвете — в российские равнины, в российское нищенство трехпольных заплат на полях, чтобы к за полдням быть над просторами Ку-

бани, а в закате, в реве пропеллера, предстать пред вечным величием Кавказского хребта, когда сразу видны и Эльбрус и Казбек, снеговые цепи, вселяющие в мозг человека сознание его ничтожества. За ревом пропеллера, мозгами, спутанными этим ревом и бессонною ночью, Павел, наблюдая за домами внизу, величиною в спичечную коробку, и за людьми, похожими на мух, думал о том странном, что есть человечество и человеческие жизни, когда сверху совершенно бессмысленны муравейники городов и сел, поезда, везущие в одну сторону ровно столько же людей, сколько и в другую, когда сотни людей одновременно ползут по одному и тому же делу, и сотни людей едут по делам, несущественным для тысячи других людей, — и совершенно бессмысленны мухи людей, глядящих с земли на самолет, бессмысленны потому, что ничто, никогда не будет узнано о их жизнях, делах, страданиях и радостях, о тех страданиях и радостях, которые так легко укладываются в нормы человеческих жизней, рождений, смерти, голода. Павел думал, что это именно и хорошо, что к человечеству можно подходить, как к стандарту человеческих жизней, ибо иначе человечество не справилось бы с самим собой: индивидуальная жизнь есть дело второстепенное, частное дело каждого, человечества не касающееся, ибо иначе нельзя было бы собирать армии и строить заводы. — Самолет сел на ночлег около города Пятигорска. Оглушенные пропеллером, избитые ветром и высотами, люди засветло пошли спать. Новым рассветом самолет понес людей дальше, пошел прямо на величие Кавказского хребта, навстречу вечным его снегам, алмазветвующим покоем и солнцем. За Владикавказом горы поднялись неприступностью, и самолет свернул вдоль хребта — к сини Каспийского моря. Около Махач-Калы, когда Каспий уже раскинул синие крылья своего простора, самолет стало кидать ветром, направо,

налево, зазвенели в ветре крылья. На земле в Махач-Кале телеграммы сообщали, что над Баку, над этим городом ветров, норд. Пилот далеко по ветру отбросил окурок, молвил, чтобы люди не расстегивали в воздухе ремней, горы и море закачались под самолетом, завывли крылья и пропеллер, облака пошли под крыльями, все азартней и азартней кидался ветер самолетом, — и в Дербенте сказали, что дальше самолет не может лететь: над Баку шторм, ветер в двадцать два балла. Поезд из Дербента в Баку ушел днем, местный, люди в котором, в коробках жестких вагонов, висли, как овощи в зеленых лавках. Поезд прошел между морем и навесом гор, пошел от гор в пустыню. Над этой пустыней мчались смерчи пыли, ветер качал поезд, свистел поездом, как воют в России февральские метели. Это поистине была пустыня, выжженные солнцем камни и пески, без кустика, без травинки, с редкими солончаками. И поистине неистовствовал ураган над землей. На горизонте впереди стояли испепеленные зноем мертвые горы. Пустыня жгла удушьем. Вскоре запахло чужим жизни запахом нефти. Тогда на сопках стали видны эйфелевы башни промыслов, нефтяных скважин. В закате в темной щели между сизых туч и мертвой земли вновь мелькнуло море, и на берегу его, на горе, огни города Баку. Через минуту все провалилось во мрак, и злое на тучах вспыхнуло зарево пожара: это горела нефтяная вышка. Люди в поезде стояли у окон, зарево пожара, сгоравшего где-то в десятках верст отсюда, отражалось на лицах людей. Поезд пришел в Баку к ночи.

III

Из коробки вагона, из зеленой лавки человеческих лиц, вышел юноша с русским лицом и не-русски одетый, в сером туристском костюме с кэпом в руках. Ветер рвал

кэпи. Айсор бросился чистить краги. Юноша терпеливо ждал. Тюроч в белом халате ткнул айсора кнутовищем, чтобы поторопить, и лениво сказал иностранцу:

— Паэдим Новую Европу.

Улицы европейских зданий были пусты. По улицам мчал шторм. Шторм вымел с улиц не только всю пыль, но даже людей. На перекрестках ветер валил извозчиков. В гостинице «Новая Европа» отвели номер на шестом этаже, как раз под крышей, где помещалась ресторация и пиликал оркестр. Номер походил на каюту океанского корабля, и сейчас же, как только ушел коридорный, номер наполнился воями и плачами шторма. Стены гостиницы дрожали. Ветер грыз дверь на террасу. В вой метели врывались иногда плачи музыки. Иностранец долго мылся, сплевывая песок с зубов. Затем он поднялся на крышу. Два перса, вопреки Корану, под ветер и от лихорадки, пили русскую водку. Оркестр разместился вокруг них. Крыша главенствовала над всем окружающим. Здесь стихийствовал только ветер, и в чернейшем мраке, где-то в десятках верст отсюда, все попрежнему полыхало зарево. И вдруг новое возникло зарево, в море, за маяками, осветило море, его волны — синим фосфорическим светом.

Иностранец спросил удивленно у лакея, что это такое.

— Гас горит в море, — ответил лакей. — Сколупнуло водой камень, гас пошел, ну, неловко его запалили, либо сам вспыхнул гас.

Лакей был медлителен. Ветер задыхался в своей поспешности. Зарева были зловещи.

Иностранец рано лег в постель и быстро заснул. И последнюю его мыслью была мысль о том, что завтра он найдет отца, та мысль, от которой физической болью счастья сжималось его сердце. Но он скоро проснулся. Дом дрожал ветром. Музыка наверху перестала. Ветер свистел

и стонал на все лады. Рычала террасная дверь. В комнате было очень душно. Ветер нес зной. Павел сел на постели и просидел так до рассвета. Город в рассвете и ветре предстал необычайным: с шестого этажа казалось, что город недостроен, ибо крыши у домов были плоски и город мертв. Вдали дымил армагадданом индустрии Черный Город, бакинская судорога заводов и дыма. От рассвета до того часа, когда можно было выйти в ресторан и в город по учреждениям, было еще очень много времени. И иностранец вышел наутро в ресторацию — пожелтевшим и потным, как все чужие Баку люди в дни норда. Он вяло спрашивал лакея, и лакей медлительно рассказывал о тех учреждениях, где иностранец мог найти следы отца. Лакей предполагал, что к вечеру этот иностранец неминуемо запьет российскую горькую, если не стихнет шторм.

Солнце светило зноем, небо было очень сине, и по земле под этим небом в неистовстве мчал ветер, палящий зноем. Ни одного деревца не было в каменных улицах города. Нахло над городом нефтью. В учреждениях плохо понимали русский язык и заговаривали по-тюркски. В учреждениях недоверчиво относились к розыскам иностранца, у которого было русское имя. Автомобиль носил иностранца по городу много часов. Он был в Черном Городе, в этом ни с чем не сравненном желваке индустрии, в громадном, сотнетысячелюдном городе, где десятки заводов перегоняют и разлагают нефть на гудроны, телуолы, бензолы, в этом месте, где судорогой собралось все страшное, что дает индустрия, дымы, гуды, запахи, железо, огонь, корпуса заводов, железнодорожные шпалы, пароходы и пароходные доки — все столь напряженное, что город больше походил на бредовой сон, чем на явь. Автомобиль проезжал мимо промыслов, где лесами стоят нефтяные вышки, где через скважины сквозь землю из глубин

выкачивают нефть и высасывают бензиновые газы. Все это было тем, что чужому глазу кажется враждебным естественной человеческой жизни. Павел Марков кончал горный институт, он смотрел кругом знакомым глазом, но он не думал об этом, потому что он думал об отце.

И у него был адрес отца. Автомобиль не смог провезти в Старый Город, и Павел пешком пошел в крепостные переулки. Здесь в переулках не могли бы разойтись два осла. Здесь не было улиц. Здесь залегли тишина и пыль, и из камней выбивалась незнакомая желтая, жесткая трава. В чай-хане здесь сидели за нергиле безмолвные персы. Азия величествовала своею нищетой. Павел прошел мимо ширваншахского замка, наглухо запертого, сплошь из серого камня. Около мечетей играли голые дети, загоревшие до черноты, как нефть. В переулке кустарей медники отбивали кальяны и кувшины для священных омовений. Павел долго стучал в калитку. Ему долго никто не отвечал. Калитку открыл нищий старик, русский, с бородой клочьями. Старик запахивал на коленях полы тюркского, похожего на извозчий, кафтана, и ноги его были в русских валенках, большие пальцы торчали из валенок. Старик осмотрел Павла строго и недружелюбно.

— Что надо? — спросил старик, выставив голову из-за калитки.

— Я хотел бы найти Александра Маркова, а если его нет, то его жену Анастасию Тяпкину, — сказал Павел.

— А вы кто будете? — спросил старик.

— Я сын Александра Маркова, которого он потерял во время русско-германской кампании в своем родном селе.

Старик осмотрел Павла с головы до ног и с ног до головы, внимательно, осторожно, презрительно. Глаза старика глядели из клочьев бороды, по природе они должны были быть добрыми: они сузились трусливо и хищно.

— А ты где же произрастал за это время? — спросил старик.

— Я воспитывался в Германии, — ответил Павел.

Старик вышел на улицу, прикрыл за собою калитку. Ветер распахнул полы его халата, его колени разбухли водянкой, белые, в зное солнца они казались зелеными. Старик замигал трусливо, и его глаза заслезились, и он заговорил шопотом, воровски оглядываясь по сторонам, — ветер донес до Павла смрадное дыханье старика.

— Действительно, жил здесь твоя батюшка Саша со своею женой, да только помер он прошлой весной. Помер на промыслах, обдало его нефтью, и сгорел он до тла, даже костей не собрали. Помер, и даже могила его неизвестна. И жена его померла.

Девочка лет семи высунулась за стариком из калитки, шмыгнула голубыми глазами, спросила:

— Дедушка, кто это?

Дед цыкнул на девочку:

— Марш домой, ишь чего! — в глазах у старика мелькнула ласковость к девочке, в глазах у него появились страх, жадность и злоба, — девочка спряталась за калитку, — старик заговорил: — Помер, помер, и даже могила неизвестно где. И жена его померла, и дочка. Все померли, и следу не осталось. — Старик помолчал. — Ты иди, иди, откуда приехал, и не ищи, и не ищи, ничего не найдешь.

Павел стоял в безмолвии. Старик говорил миролюбиво, но все-таки недружелюбно:

— Ты иди, иди, все померли, ни синь-пороха не осталось. Иди, иди, откуда приехал.

Павел не слышал, что говорит старик. Павел стоял в безмолвии. За той болью, что была у него, Павел не видел злых глаз старика. Старик был дорог ему, как боль. Этот город неостывших земных недр, город вечного огня—

взял этим огнем — отца. Павел поднял голову. Калитка была глухо заперта. Улица была пуста и безмолвна. Павел вернулся к жизни, он потерял минуты, которые он стоял против пустой калитки. Ветер рвал улицу, такую узкую, что здесь не разойдутся два осла. Город, оставивший в тысячелетях память о вечном и живом огне, — этим огнем убил отца. Павел вернулся к жизни, вернув в реальность улицу, калитку, время, и пошел вниз по улице: к морю, к набережной под крепостью, которая тридцать лет тому назад была морским дном, шел никак не русский человек, — шел немец, которым впервые окончательно — и навсегда окончательно — почувствовал себя Павел. Был закат, и на лилиеобразном минарете кричал муэдзин, глоткой своей выкидывавший звуки, знойные, как пески в Сураханах, около Храма Огнепоклонников. Немец Павел Марков видел минарет — глазами туриста.

До гостиницы за иностранцем шла галкообразная старуха, из-за переулков следившая за ним.

IV

В гостинице, в ресторации, лакей, почтительно и как врач-терапевт, наклонился над ухом иностранца, молвил:

— Водки прикажете под закуску, очень полезно.

Павел не глянул на лакея, лакей понимающе улыбнулся.

— Нет, — ответил иностранец. — Вы закажете мне билет на самолет, на завтрашний рассвет. Затем вы закажете мне автомобиль до Храма Огнепоклонников, сейчас же.

Швейцар пошел телефонировать. Лакей сообщил, что автомобиль ждет, с аэронавигационной станции ответили, что завтра самолет не пойдет из-за шторма.

— Хорошо. Вы купите мне билет на поезд.

Автомобиль пошел к Сураханам, к Храму Огнепоклонников, — к тому, что было метафизикой земли неостывших недр. Вновь автомобиль прошел мимо Черного Города, этого места человеческих социальных инстинктов, тех инстинктов, которые заставляют строить города и заводы, пароходы, аэропланы, железные дороги, когда с аэропланов эти города и заводы кажутся гигантскими муравейниками. Черный Город душил запахами и скрежетами. Автомобиль вышел в желтую пустыню, измазанную нефтью. Был закат, когда автомобиль, через лес скважечных вышек вокруг села Сураханы, пришел к Храму Огнепоклонников: и это был последний день в жизни Павла Маркова, когда последний раз был он русским, ибо он чувствовал, что он приехал на могилу отца. Вокруг монастыря стал промысел. Вокруг монастыря стоят глухие стены, неправильный пятиугольник. Шофер повел во внутренность храма низкими воротами, стены были толсты, в каменную щель убежала ящерица. Внутри пятиугольника лег заброшенный двор. Во внешних стенах вделаны были келии, сводчатые двери ведут в них, двор зарос колючими травами. И посреди двора стоит храм, четырехугольное каменное здание, нищенски простое. Четыре сводчатых двери ведут под своды храма. Каменные плиты пола испарканы ногами, и там под куполом — куча камней и песку: этими камнями и этим песком завален алтарь, глубокая щель в земле, откуда шел газ, тот, который неугасимо горел несколько столетий подряд, святейшее место огнепоклонников. Это все убого и нище, время запустения набросало пыль и рассадило сорняки, которые лезут из щелей меж каменных плит. Тот газ, что горел здесь столетиями, отведен ныне на соседний заводик, капля копилки индустрии... — и это все! Это памяти Зороастра!.. На северной стене храма

написано по-санскритски: «— во времена святого властителя Викрамадитья в этом месте священного огня я, Канчанагар, пришедший из Дараваджабана, кающийся, обитатель Рамадиги, почитатель князя Коты, почитатель махадевы. В восьмой Джавад год»... — Что все это значит, что значит, что столетиями приходили сюда люди из-за многих тысяч верст, из Индии, через пустыни, чтобы здесь умирать? — Есть запись путешественника от дней, когда этот монастырь жил: «...сначала видны только пять огненных потоков из высоких труб индусского жилища, как будто бы летающие по воздуху, а уже вблизи становится заметно индусское строение, и показываются остальные огни, выходящие из земли и предоставленные собственному произволу. Огненные истоки рассеяны по обеим сторонам дороги, в недалеком один от другого расстоянии»... — что значит, — что вот сюда приходили индусы, которые годами ждали смерти, чтобы сгореть здесь на алтаре вечного огня, годы ожидания отдавая подвигам всяческих страданий и лишений, когда одни спали стоя, а другие все время ходили с поднятыми руками так, что руки их отсыхали, умирали заживо, — какие силы гнали сюда людей из-за многих тысяч верст ждать смерти и сгорать в огне? — Последних индусов здесь видели в 1860 году, их было пять человек. Тогда на Апшерон пришла индустрия: и с тех пор индусы исчезли. Алтарь завален камнем и песком, на стенах и в келиях поросли сорняки. Все нище. В одной из келий на стене виден рисунок — изображение индусской богини Кали. И это все!

Закат померк красным полымем. Шофер ушел к автомобилю и рявкнул оттуда гудком, в ожидании. Павел попрощался — с отцом. Храм провалился во мрак. Опять автомобиль пошел мимо Черного Города. Черный город полыхал тысячами огней, и издалека слышен был скрежет

его машин. Черный Город — социальные человеческие инстинкты — был тем, что родилось из Храма Огнепоклонников, куда так же с великого множества концов земли идут люди, чтобы делать, чтобы двигать — не бога, но цивилизацию.

Поезд принял Павла Маркова сейчас же после автомобиля. В сердце Павла была великая грусть, мечта об отце погибла. День переутомления наложил на мозги булыжники. Казалось, что мозги политы нефтью переутомления и горят. Станционные огни в черном мраке и ветре казались измазанными маслом. Пахло нефтью от улиц. — Человечество! — человек! — человеческое! — Вот то, что кинуло этого человека из Германии в этот фантастический город, инстинкт рода, человеческая любовь сына к отцу, которого нет, — вот то, что посылало сюда индусов умирать, — то, что согнало сюда сотни тысяч людей, чтобы добывать мазут и бензин, чтобы коптиться Черным Городом во имя человеческого социального инстинкта, создающего индустрию, — и все это там, где в Старом городе в чайхане дремлет Азия. Мозги горели переутомлением.

За минуту до отхода поезда к Павлу подошла старушонка в черном платке. Она робко посмотрела на Павла, на его европейский костюм, сухими пальцами она утерла свои губы и поклонилась Павлу. Старуха походила на ведьму.

— Вы будете Павел Александрович, Александра Маркова сын? — забормотала старуха. — Я вам скажу, вы не спрашивайте. Будете свечку ставить, поминание писать, — я вам скажу, вы не спрашивайте, — за здоровье пиши, сынок, за здоровье, — не возьму греха на себя, не возьму, — за упокой писать никак не возможно, — я тебе говорю!

И старушонка побежала, виляя старыми ногами, старушечьей рысью, прочь от Павла, в темноту привокзаль-

ного садика. Ударил последний звонок. Старушонка, похожая на галку, говорила скороговоркой, пришепывая: Павел ничего не понял. Поезд тронулся во мрак. Свистел ветер. Зарево на горизонте казалось бредом. Норд и бессонница навалили впечатления дня тяжелейшими булыжниками, и мозги горели в тяжести их нефти. Сон пришел сразу. Свист ветра в движущемся поезде не мешал. Последняя мысль перед сном была об отце, который сегодня умер, — мысль о том, что все в мире, что пришло к нему в этот день смерти отца, — огнепоклонники, Черный Город, Азия, — и есть именно отец, его порождение, данное человеком, — и он в том перенапряжении нервов, которое было у него сегодня, — видел отца: видел отца именно всем тем, что видел за этот день, что жгло переутомлением его мозги, — ибо отец есть жизнь, судорога жизни.

V

В сумерки, на промысле номер 7, как раз том, который стал вокруг Храма Огнепоклонников, прогудел смену гудок, и рабочие пошли на трамвайную станцию, чтобы ехать по домам. И из людских формул, которые называются рабочими, возникла индивидуальность: рабочий-бурильщик Александр Марков, добрейший и приветливейший человек, типа Платона Каратаева, с утра в этот день был очень разговорчив, и в трамвае с приятелями разговаривал о советской власти и ее достижениях. Он не был коммунистом, но он был шумным сторонником всех тех начинаний, которые строила коммунистическая государственность, — и в трамвае он перечислял все, что сделано нового в Баку, вот с того самого трамвая, на котором рабочие сейчас ехали по домам — с рабочих поселков, где сам Александр Марков квартиры не имел, но которые построены по самому последнему слову техники, не хуже

немецких, кои он знал по плену, — кончая тем, что нефти сейчас вырабатывается в два раза больше, чем до революции. Оставив трамвай, Александр заходил в лавочку, купил сладостей для дочурки Таньки. В Старом Городе, в переулочке, кормильца ждали — жена и дочь, и старики, отец жены со своею женою, — тот самый старик, который говорил у калитки с Павлом, старательно прогоняя внучку, единокровную сестру Павла: это было по-русски, в русской жестокости моей хаты с краю, когда старик просто понял, что германский сын — конечно, увезет с собою отца, возможно, возьмет отцову жену и дочку, но оставит его, старика со старухой, умирать в Старом Городе. Для старика это было естественным, опытом его жизни, его манерой миропонимать, старик не скрыл своих мыслей от старухи-жены. Поезд уносил Павла Маркова за Кавказский хребет. Александр Марков стукнул калиткой, молвил пустому двору:

— А вот и я!..

Над Старым Городом шла тишина. За соседней калиткой, куда изредка заходили крадущиеся люди, курили гашиш. На углу в чай-хане усердные лентяи докуривали нергиле. Внизу, по главной улице, прошел пришедший из пустыни караван, колоколец вожака позвякивал звоном. Азия засыпала, умирающая Азия мест, где еще не застыли земные недра. В ночи мрака с холмов Старого Города видны огни новых городов — Черного и Белого, где обрабатываются земные недра, ибо цивилизации теперешнего человечества надо кидать в небо самолеты, двигать по океанам корабли, заасфальчивать дороги и улицы городов, ибо они необходимы человечеству. На сотни квадратных верст внизу лежала черная земля пустыни, проасфальченной, занефченной, которая была алтарем огнепоклонников, людей, испугавшихся огня, земли, проклятой для естественной человеческой жизни,

куда теперешние человеческие воли прислали сотни тысяч людей, — земля, которая Павлу Маркову показалась отцом.

Александр Марков, степенный человек, вошел в дом. Здесь пахло кислым и старым жильем, было безмолвно. Свет не был зажжен. Лишь из дальней комнаты через щели двери шел свет свечи. Эта комната, откуда шел мигающий свет, была нежилой. Александр подошел к щели: на столе мигала свеча, и в ее свете около нар копошились два древних, сивобородых старика, в белых одеждах, движенья и лица стариков были священны и медленны, глаза их были светлы. Александр смотрел на них с любопытством, покачал головой, рассматривал долго, присев на корточки. Старики молились перед нарами. Дом был безмолвен. Александр вышел из дома на двор, пошел в сараюшку, где по летнему времени жил его старик. Здесь в сараюшке было ужасно, в мути керосиновой лампы валялись жирная нищета и грязь, в свалке всякой рвани и рухляди, старьевщицки сваленной. На кровати, на сале лоскутного одеяла спала дочка Танюшка, и на другой кровати, с ногами, босоногий, сидел отец. Ноги старика отекали зеленою водянки. Лампа стояла около старика. Старик перебирал на свет лампы узел со рваным шелковым тряпьем, сортировал нищету. Александр сел на кровать около старика — и сейчас же пересел на другую кровать, к дочери.

— Сидеть около тебя невозможно, — сказал Александр, — прямо невозможно, как ты смердишь.

Старик ничего не ответил.

— Опять индусы? — спросил Александр.

Старик ничего не ответил, молчанием подтверждая вопрос.

— Ах, папашка, папашка, старый хрыч, — сказал Александр, — ну, который раз говорить, донесу я на

тебя, как тебе не совестно с этой живой контрабандой. — С караваном проползли? — и вот тоже идиоты, — да сколько тысяч верст таскаться умирать, — вот дурусть, подумать только, бабочки какие — на огонь летят, за смертью гоняются, словно искать ее надо.

Старик молчал. Старик слезящимися глазками глянул из ключев бороды, глаза были добры.

— Вот и надоть — искать! — сказал он. — А то еще надо — прятать...

Александр задумался, погладил дочь свою по щеке, сказал раздумчиво:

— Ты эти свои загадки брось... Нехорошо ты живешь, старик, паскудно живешь, смердишь. Ты богатый человек, у тебя золото в кубышке спрятано и рубины индейские, ты внучке показывал, — и дочери твоей показывал, жене моей, когда она девочкой была, эвона, с каких пор копишь. Жрешь ты на мой кошт. Люди тебя презирают... Ты бы хоть в баню сходил!.. Кто эти индусы, я не знаю, но умирать по пустякам не полагается, их дурусть приходится уважать, а ты их веру обираешь, обкрадываешь... Ты смотри, я гол, как спичка, а меня все любят. А скажи ты мне, кто тебя не презирает? Смерд ты и больше ничего. Жену ты забил. Дочь тобой брезгует. Только одна Танюшка тобой и не брезгует, и то по глупости лет, до времени. Если бы не мой характер, сдать бы тебя, кому следует. Погибнешь ты, старик.

Старик ответил покойно, нескоро, отложив к месту тряпку.

— Нет, не погибну.

— Ну, зачем ты такой живешь? — спросил Александр. — Кому так ты нужен?

— Себе, — ответил старик, — и живу для себя. А что смердю, — нет, чтобы ты меня с собой когда в баню взял.

— Да мне с тобой совестно итти, — ты сам у себя штаны украл, без штанов ходишь, — а дай тебе двугривенный, ты его в кубышку спрячешь. Гад ты, старик. Нельзя с тобой сидеть, задохнешься. Погибнешь ты, старик, верь мне.

— Не верю. А помирать буду, скажу Танюшке, где рубинчики достать, — ты тогда их у ней украдешь.

— Я? — молвил Александр и махнул рукою, взял на руки дочь и вышел во мрак двора. — Смерд ты, старик!

Старый Город безмолвствовал тишиной безлюдья. Гудел над городом норд. Вдали в пустыне зловеще светилось зарево нефтяного пожара. В Белом и Черном городах белым светом горели электрические системы мироздания. Была знойная ночь. Мирозданье космоса светило в черном небе своими звездами. Под звездами над землей неистовствовал норд. Смердящий старичишка в своем безоконном сарае, связав аккуратно узел шелковыми тряпками, положив его в изголовье постели вместо подушки, долго сидел в неподвижности, взоры опустив на керосиновую лампу. Всегда чуть-чуть страшен человек наедине с самим собою, когда он не знает, что за ним следят. Старик жмурился на лампу, как коты жмурятся на солнце. Мысли старика были непонятны, лицо не вскрывало их. Старик начинал улыбаться, глаза его самодовольствовались. Старик облизал губы, плюнул себе на палец и размазал слюною грязь на ноге, между пальцев. И опять улыбался старик, жмурился, блаженствовал. Он заснул, склонив голову на узел шелковых тряпок, на пестрядь умершей роскоши. Во сне лицо старика было беспомощно.

Никто в этот день, ни Павел и Александр Марковы, ни смердящий старик — не думали, конечно, о созвучии слов — индусы и индустрия.

Николина Гора,
27 июля 1928.

СТАРЫЙ СЫР

I

Мой друг!

Ваше письмо из Англии шло ровно год, и совершенно непонятно, как оно дошло. Где вы теперь? — Вы пишете о том, что Лондон попрежнему все свои концы и начала — улиц, тюбов, музикхоллов, кабаков, ночей в доках и Гайд-Парке, Сити, Пикадилли, Пэлл-Мэлла — ведет и приводит в столетья известняков Вестминстерского Аббатства, к дедовскому креслу у камина и к сода-виски в туманные вечера? — Недаром парламент вот уже восемь веков заседает в монастыре! — Я очень помню то удивление перед цивилизацией, когда — мелочь — я не могла перейти улицу у Тоттэнгам-коорт-роада на Оксфорд-стрит, она была так загружена такси, бэсами и каррами, — я заметила, что грузы передавались кранами над крышами, а мне предложили перейти улицу под землей коридором для пешеходов. Я очень помню то чувство гордости и благодарности человечеству за его человеческую духовную культуру, которое я дважды пережила в Лондоне: — один раз под колоннами Британского музея, уходя из тишины его зал, где тогда я причащалась в ее истории человечества, к векам лучшего в человечестве, где в сумрачных складах внизу я видела все книги, которые вышли в мире; и второй раз в Вестминстере около могилы

Ньютона, — там в веках и полумраке, на известняках стен и под известняком пола — даже Ньютон — только звеньшко в том грандиозном, что зовется человечеством и что человечество создало, и каменная плита в полу над останками Ньютона, где написано его имя, уже полу-стерта ногами людей, здесь, над ним, проходивших. — Помню, потом, после Вестминстера, мы пошли в «Кабачок Старого Сыра», излюбленный кабачок Диккенса, там в клетке кричал попугай, нам дали кушанье — «пай», — которое любил Диккенс, завтрак мы закончили старым сыром, в честь которого и назван кабачок, — и, когда уходили, хозяин кабачка, заметив, что мы иностранцы, подарил нам книгу в триста страниц, где излагалась история этого кабачка с 1647 года, кто в нем был, какой художник, поэт, джук-оф-Йорк — коротали в нем у камина лондонские туманы, там рассказывалось, как один джентльмен поцеловал на лестнице в кабачке прекрасную лэди и что из этого вышло, там подробно указывалось, на каком месте, в какие часы сидел здесь Диккенс и на какой странице в «Повести двух городов» описан этот кабачок; хозяин кабачка был горд сообщить нам, поклонившись, что и он соработник культуры...

Но — вот, как живу я теперь.

Направо, налево, сзади и впереди нас — степь. Из степи встает солнце и в степь уходит. Железная дорога от нас в ста верстах, ближайшее село — в пятнадцати. Весной степь буйно цветет тюльпанами и травами до пояса, потом степь выгорает, остается сухая земля да кое-где на ней ковыль и полынка; зимой лежат снега, над землей тогда горит Полярная Звезда, и ковш Большой Медведицы не может вычерпать всю нашу степную грусть. В степи идет овраг, за версту направо и налево он не виден, и в этом овраге стоит наш хутор. Мы не пашем, по скатам оврага расположился сад, огромный, десятки де-

сятин; ключ, который течет наверху оврага, мы превратили в пруд; два верблюда все время ходят по кругу, качая воду для поливки сада; у нас есть шесть коров, два верблюда и одна лошадь. Весной сад цветет: тогда болит голова от соловьев и запаха цветущих яблонь; осенью все пахнет яблоками, и яблоки горами навалены всюду, на столах, на подоконниках, на полу, в сараях, на чердаках... Около пруда, в тополях стоит наш дом, низенький, под деревянной крышей, выкрашенный снаружи известкой, как украинские хаты, терраска висит над обрывом в сад, в гущу деревьев и — весной — соловьиного переполоха. В доме низенькие комнаты, большие лежанки, скрипучие двери, и дом навсегда, должно быть, пропахнул степью, полынью и зноем. В России революция, все дороги заброшены, редко-редко, когда на горизонте возникнет киргизский всадник и сейчас же исчезнет за балками; к нам никто, и мы ни к кому. У нас нет хлеба, и мы делаем хлеб из яблок, на молоке. Мы живем, как жили, пятеро: мать мужа, старуха, член Географического общества, энтомолог, — она и сейчас ведет исследования и пишет, мой муж, я и брат мужа Николай, художник, с женой Ольгой. Мы живем дружно и бодро. Муж проводит дни на той стороне оврага, где поднимается солнце, там у него пчельник и клочки бумаги в шалаше, иногда он стреляет из своей берданки среди дня, это наш условный знак, тогда я иду к нему, и мы печемся на солнце — иногда я слышу на терраске костяные шаги его пойнтера, у пойнтера во рту клочок бумаги с одним словом: «приди»... Вечером, после заката, мы сидим на терраске, муж на ступеньках к обрыву, молчим, и я чувствую, как на платье садится роса... Я просыпаюсь с солнцем, и все же всегда застаю мать в ее комнате, с лупой в глазу, с пером в руке, склоненную над своими бабочками и жучками, — если бы вы послу-

шали, какие необыкновенные вещи она рассказывает о бабочках... Весь день у меня заполнен трудом; утром я и Ольга, мы доим коров, я или она отгоняем их в поле, мужчины таскают воду, мы готовим завтрак, потом надо идти в сад и работать там, весной мы окопали все яблони, потом воевали с червями, теперь надо собирать. Скоро зима, мы никуда не поедem, нас заметет снегами, мы все соберем в нашем домике, будут мести метели, и будет очень хорошо. Мы ничего не знаем, что делается в мире, живем совсем без денег, на первичной ступени культуры, и я не знаю, как и когда я отправлю вам это письмо... Сейчас осень, по-европейски сентябрь, стоят необыкновенные дни, сад пожелтел, степь еще больше раздвинулась, дни пустыни, безмолвны, солнце слепит, но несет холодок, ночью садится заморозок, и все небо — громадное — в звездах, вечерами мы ходим в степь, вчетвером, за несколько верст. Мужчины берут с собой ружья, так как сейчас идет перелет, можно застрелить дрофу, — и еще от волков, которые стали набегать на хутор. Возвращаясь, я и муж, мы идем спать на пчельник, к яблочкам и меду, а Ольга и Николай — на сеновал, к увядшим весенним травам...

Из дневника Ольги Дмитриевны,
жены художника Николая.

5 сентября 1918 г.

Вчера мать рассказывала о своем научном путешествии в Монголию, а Мария вспоминала Англию, — а позднее мы ходили в степь и слушали, как воют волки. И ночью я видела нехорошие сны, мне снились лондонские улицы, Трафалгер-сквер, и будто бы они в монгольской пустыне, мертвые и занесенные песками, фонтан у колонны Нельсону иссяк и гранит растрескался, по улицам проехали на лошадях верхом монголы, потом прошел в цилиндре

и с зонтом, как подобает, англичанин. И сейчас я думаю, что этот сон — очень похож на нашу явь. Какая страшная кругом степь, пустыня; когда заезжают киргизы и останавливаются отдохнуть, они вынимают из-под седел сырое, прелое мясо и жрут его, разрывая зубами; когда — в этом году только два раза — мы собираемся поехать к человеческому жилью, — это бывает гораздо сложнее, чем проехать от нашей же станции до Петербурга за полторы тысячи верст... День сегодня пришел в солнце, пустой, ясный и мертвый, был заморозок, мы спали, зарывшись в сено, ночью на горе над нами выли волки... А на рассвете, неловко повернувшись, я вновь почувствовала, как во мне движется ребенок, прекрасный мой, неизвестный... Потом пошел день, как всегда, в работе, в заботах. Я люблю наши дни, потому что мы дружны и бодры. В час, за обедом, мы собираемся все, всегда шутим, раскладываем пасьянс, мы, женщины, — братья играют партию шахмат. В сущности, сон, конечно, не похож на нашу жизнь: во сне — Монголия съела Лондон, мы же — колонизаторы, несущие культуру в земли дикарей.

7 сентября.

Сегодня в саду собирала последние яблоки, антоновку, снимала с верхушек шестом, оступилась и опять почувяла, как во мне, там, повернулся ребенок. Какое это счастье! — Бросила сад, пошла к мужу, он был около верблюдов, приласкалась к нему, сидели у ворота, который кружат верблюды, — я знаю — около нас было счастье... Потом, как провинившиеся дети, стали спешить починить ворот, починили, ушли в сад собирать яблоки и долго не шли к обеду, озабоченные яблоками. И после обеда не задерживались в комнатах, опять пошли в сад. Мария что-то заметила, погрозила мне пальцем, я высунула ей язык. И к вечеру мы наворочали яблок целую гору. Вечером

Андрей, чудака и изобретателя, подарил Марии и мне по флакону самодельных духов, очень хороших, пахнувших и яблоками, и полынью, как вся наша жизнь, он так и надписал на пузырьках: «Духи Наша Жизнь». Мы сидели в доме, я шила белье будущему ребенку, мама раскладывала пасьянс, мужчины изготавливали восковые свечи на зиму, — все шутили. Ночью мы видели, как далеко в степи полыхало зарево. Что бы это значило? — Мужчины обеспокоились, заговорили о революции, о крестьянских восстаниях, — мы все приветствуем революцию, так как она пробудит феодальную Россию...

Сегодня утром нарушилось наше безлюдье. На рассвете приехали киргизы, пять всадников, с английскими военными винтовками. Всегда раньше их очень долго приходилось просить въехать на двор и зайти в дом, — теперь они, оставив лошадей среди двора, кинув им сена из сарая, вошли в дом, в нашу столовую, и сели, как садятся европейцы, не на пол, а на стулья, они были очень торжественны, молчали. Мама принесла сушеных яблок, они отказались есть. Андрей предложил им меда и сидра, — они вновь отказались — даже от сидра, хотя им объяснили, что это алкоголь. Они сидели все, как один, расставив кривые свои ноги и опершись на них руками, точно думали очень большую думу. И все они были, как один, — с узкими косыми глазками, в остроконечных меховых шапках, изъеденных вшами; скоро от них вся комната пропиталась гнилым запахом нечистот, пота, кислого молока. Они пробыли недолго. Так же молча поднялись, вышли к лошадям, навязали нашего сена к седлам и умчали в степь. Андрею и Николаю — не понравился их визит, но мама думает, что с дикарей нечего спрашивать приличий, а то, что они скинули с себя всегдашнюю свою маску трусости и забитости, почувствовали себя — пусть нелепо — гражданами, это хорошо...

Сегодня прозрачный, пустой осенний день, утром я видела, как стрелкой на юг потянули журавли, — от них всегда грустновато, как-то бередится душа, и сама хочешь к ним. В саду уже падают листья, он редет, становится непривычно просторным, и слышно, как падают забытые яблоки... А к вечеру пошел дождь, заморосил, заволоч небо. Стал дуть мокрый ветер, обшаривает все, все пронизывает. Ночь черная-черная, ничего не видно. Степь теперь страшна, мокрая, темная, пустая. Шумит нехорошо, жутко сад. Мы все собрались в столовой, каждый со своим делом, — я сижу в сторонке и пишу это. В такие вечера надо быть особенно дружными. Кончу писать и буду шить ребенку, и сегодня мы не пойдем спать на сеновал, по-зимнему будем устраиваться, в доме... Как нехорошо лают собаки, должно быть, опять волки... Чу, — выстрел!.. Андрей пошел узнать, в чем дело.

II

В исполкомах, в чрезвычайных комиссиях, в штабах армий, на площадях, на улицах, на проселках, на железных дорогах, на станциях — по деревням, хуторам, пустошам, полям, степям, оврагам, рекам, — ночами, туманами, дождями, — осенью, тысячами глоток, тысячами, — шли, ползли, тащили пушки, обозы, скотину, — кричали, пели песни, молились, плакали, матершинили, — спали на дорогах, в оврагах, в степях, — ягли костры, деревни, поля, города, — умирали с чашкой в руке, сонные, бодрствующие, больные, — убивали сышняками, пушками, голодом — — От Урала и степей шли бело-голубые, в английских шинелях, со старообрядческими крестами, бородатые. От Москвы и Питера, от городов и машин шли красные в рабочих куртках, бритые, со звез-

дами и без молитв. За увалами ставились пушки, палили по речным просторам, по туманам, по городам. Полыхали непокорные села — красными петухами, степными вешками. Люди закапывали себя и хлеб — в полях, в канавы, в овраги, в реки. Люди не спали неделями и засыпали от бессонницы навеки, люди — спали неделями. В полях — под осенним солнцем и звездами — бродили одичавшие лошади, волки, люди, страх, буй...

В исполкомах, в управах, в чрезвычайных комиссиях, в контрразведках, в штабах армий — трещали телефоны, толпились курьеры, дымила махорка, писались приказы, узнавались истины, открывались предательства, мелочами проходили геройства и глупости, спали на столах, тут же ели и трудились, на задворках расстреливали, у парадных дверей вешали плакаты, и охрипшие люди с парадных дверей, с тумб, со столов — кричали, кричали тем, кто шел, шел, шел мимо...

В исполкомах, в чрезвычайных комиссиях, в штабах армий застревали — для истории — бумаги о том, что там-то взорван мост и геройством в смерть ушла сотня матросов, что там такой-то отряд ушел умирать, что там взяты, а здесь сданы куски земли, что там такая-то грязная ночь, — что там повесили бело-голубые такого-то комиссара, что новая красная тысяча пошла умирать за прекрасное будущее, бритая и в рабочих куртках, — что по степи бродит шайка киргизов, грабит, насилует, режет и жжет.

Сначала были бодрые в солнце дни бабьего лета, солнце шло по синей небесной корке, летели над полями паутинки, притихала земля в синем твердом воздухе — днями, а ночами горели обновленные за лето звезды, и светил месяц, возродившийся после июня. Потом шли дожди, мир и степь посерели в сырости. Потом морозы сковали сырую степную серость, — и тогда выпал снег, чтоб опять

поползти по проселкам, грязям. Снег выпал, как всегда, ночью, и с рассветом стал сползать, на минуту закинув в сердце каждого бодрость. По улицам, мешая грязь со снегом, шли красноармейцы, на площади еще не стухли костры от их ночовки, и дым стлался к земле, воздух — по-утреннему и по-зимнему — был синь. Секретарь исполкома, по-зимнему в валенках, в железку положил дрова, прежде чем приступить к прочтению бумаг, и среди сотни бумаг была одна, где доносил волостной председатель о делах в своей волости.

«А также доношу што посарынским пустошам недели две тому назад прошли киргизы сто человек вооружены винтовками грабили хутора мужиков брали в плен а потом в степу резали. Бабов почитай всех перепортили, а скотину не так воровали как разогнали, што только наделали. Апрошли они шешнацать хуторов и три села. Мы теперь нарядили мужиков ловить по степу скотину. Што делать?»

За окном исполкома таял снег, солдаты запели песню о том, как припотели девки. Снег стаивал, на площади выростала лужа, земля серела, как лицо старухи в слезах. Печурка в комнате разогревалась. Та бодрость, которая всегда бывает у людей в первый день зимы, вместе с тающим снегом переходила в будни, песня солдат стихла за поворотом в степь. О киргизах было уже известно в исполкоме, как-то мутным рассветом на взгорке в мокрой степи их искрошил, вместе с лошадьми, на крошево волкам, — пулемет, — и секретарь засунул бумагу сельского комиссара под сукно... В кабинете председателя зазвонил телефон, пришла телефонограмма из штаба о наряде на подводы...

...А где-то в степи в эти страшные недели, — солнце, садясь за балки в жухлые ковыли, в страшный красный

простор, осветило холм и на холме дикую, древнюю картину азиатского кочевья. На холме горел костер, вокруг костра сидели дикари, в мехах, в остроконечных шапках, с лицами унылыми и омертвевшими, как их степь и полынная степная культура. Эти люди были безмолвны, как степь. Только лошади, что бродили по балке, ржали иной раз да мчали по степи, взметая пыль и тишину. У костра — люди — за день становища — насорили человеческим сором, валялся конский помет, седла, винтовки, кочевья утварь, — от костра пахло пометом, ибо пометом горел костер. На костре долго жарили тушу лошади и ели ее, держа куски мяса в руках. — Так — красной раной — ушло солнце, — чтоб небо заковалось в звезды, во льды, — чтоб костер долго дымил и тлел красным недобрым зраком в степных путинах... А новый рассвет застал киргизов уже за много десятков верст от этого костра, и был пустой, прозрачный, безбрежный осенний день, в тишине, хрусткой, как стекло, в журавлином клетоте, в журавлиной печали. И этот день ушел в дожде, в сырости, в серости. Так же безмолвно сидели киргизы у костра в степи, ноги под себя, в остроконечных шапках, так же тлел костер пометным дымом, и бродили во мраке лошади. И ночь пришла черным мраком, изморосью, сиротством, ветром. Рано с вечера завывли волки, и лошади подобрались к костру, стали кругом, головами к людям, задами к степи, следили, выведывали, боялись. И новою ночью они пустились в новый путь. Здесь у становища был стог сена, в такие стоги русские закапывали и сжигали в них киргизов-конокрадов, — и, отъезжая от становища, кто-то кинул в стог глышку, стог вспыхнул вехой на новую ночь...

...На горе, над оврагом было тихо, мирно внизу в деревьях — в окнах — светил огонь, чуждый и чужой киргизам. Залаяли собаки. Всадники стояли неподвижно; ло-

шадни опустили головы; шелестел внизу, в деревьях, ветер — сиротливо, нехорошо. Подъехали еще всадники, стали слезать с лошадей. Один, по-киргизски-скорченно сидя на длинногривой маленькой лошаденке, оставив от себя винтовку, должно быть, сожмурившись, выстрелил в небо. Тогда бесшумно, с ножами и винтовками, один за одним, поползли киргизы вниз по кустам. Тот, который выстрелил, остался с лошадьми, лошади стали в круг, задами к степи, понутив голову, маток пустив в середину...

Внизу крикнули мирно:

— Э-эй, — кто там стреляет?..

Долго была тишина, и вдруг сразу — огромным полымем — вспыхнул сеной сарай, затрещала в огне крыша. И тогда завизжала пронзительно, дико, умоляюще женщина:

— Оставьте, оставьте, пустите, я беременна, пустите, я бере. —

Киргиз сверху видел, как из дома с крыльца трое потащили женщину, за руки и за ноги, волоком. Киргиз перебрал вожжами и чмокнул. Потом крики опять стихли. Внизу в свете пожара бегали люди, безмолвно. Потом опять кричали женщины. Четверо наверх прикатили бочонок и, не дожидаясь всех, здесь же пили, подставляя шапки под кран, — из шапок. Пожар разгорелся сильней, в черный мрак, в дождь и ветер летели галки, — и живое воронье, разбуженное пожаром, закаркало над черной степью. Двор опустел.

Опять закричала женщина:

— Спасите!.. Пустите, я же умру!.. —

Женщина выбежала из мрака на огонь и побежала. За ней бросилось человек десять, ее повалили тут же у пожарища. От крылечка, прежде незаметный, волоча себя руками, обезображенный, в крови, пополз человек, он протянул руку и выстрелил в кучу киргизов, — тогда

стоящий наверху, почти не целясь, выстрелил из винтовки и видел, как пуля разорвала голову.

..Дождь шел всю ночь, новый рассвет приходил в серой мокроти, в тумане, в ветре... Новый рассвет застал киргизов на новом становище, — так же тлел костер, так же безмолвно, подогнув под себя ноги, сидели люди, так же бродили лошади, подбирая жухлую траву... Так было еще несколько рассветов, когда — таким же невеселым рассветом — с двух сторон над становищем не затрещали пулеметы, чтоб оставить на тризну ястребам и волкам кашу человеческих костей...

А на хуторе, тоже через несколько дней, три женщины и два красноармейца хоронили троих: двух мужчин и одного недоношенного, родившегося мертвым ребенка, — и комиссар, после похорон списывал в бумагу, покачивая недоуменно головой, что: — «убили — мужчин двоих (подумав, он переправил — троих); изнасиловали — двух женщин и одну старуху; съели одну кобылу; сожгли один сарай», — и прочее.

...Над степью вышал еще снег, и опять стоял, развозя грязь; чернозем расплзся, солдатская нога утопала в нем по щиколотку, — ночами солдаты мешали на привалах в одну кучу — свет костров, снег, грязь и свои тела, — на рассветах солдаты шли вперед, в муть, снег, степь... В штабах, в исполкомах трещали телефоны.

III

В Лондоне уже неделю стоял туман, был март. Иногда выпадали дни, когда — из-за тумана — должны были останавливаться бэсы, такси, трамваи, карры, город замирал, и люди в желтом тумане шли по улицам, держась за стены домов. Город замирал; люди сидели дома у каминов в пледах на плечах, в шерстяном белье; мужчины и

женщины пили сода-виски, чтобы согреться и убить пустые дни; город и все ждало, когда с океана подует ветер. Фонари не тушились все дни, но они были не нужны в тумане. Газеты увеличивали свои тиражи на дни туманов.

Человек, одинокий, русский, но ставший точно таким же, как все англичане, привык просыпаться под скрежет железа, под машинный, стальной гул города, под шипенье автомобилей за окнами, — но были дни тумана, и, проснувшись в желтой жиже утра, не развеяв еще сна, человек услышал дальний колокольный звон, так же как в России, — за этот колокольный звон вместо скрежета машин он когда-то проклял Россию. В рыжем тумане, в замершем городе звонили колокола, — и какая новая душа города выползала в этом звоне и тумане? — Так же, как все англичане во всей Англии, за брекфестом он ел порич и бекен и кофе пил с вареньем из апельсинных корок. Но он, как все англичане, не был связан с Сити, — это у него осталось от России, — и он, в черном плаще, цепляясь за стены, от угла до угла, пошел в Британский музей, чтоб там, в сумрачных книжных залах, уйти от сегодня в дальние закоулки катакомб человеческой истории, — чтоб, как всегда каждый русский, мерить историю человечества — Россией, пусть она где-то там, покинутая и неизвестная, как Китай, — и пусть человек уже научился говорить по-русски, сломав свой язык английским языком. В книгах возникала — книги верно говорили о страшной дряхлости человеческого рода. Так за столом с книгами пришел час ленча, и тогда человек вновь вышел к туманам, он прошел в Кинзуэй, оттуда к церквям на Странде и мимо церквей — на Флит-стрит — улицу газет для всего мира, улицу Диккенса. Эта улица — законом «старого света» и английским консерватизмом — стояла так же, как стояла четыреста лет тому назад, и в проулочке под воротами человек прошел в «Кабачок Старого Сыра».

Там горел камин и было пусто, кричал что-то попугай; лакеи с бакенами были министерски величавы; у стойки, в коридоре уже запил с туманной тоски ирландец, насвистывал «типерэри» и пил только виски; он стоял, облокотившись на стойку, расставив широко ноги в клетчатых серых штанах, и говорил, прерывая «типерэри»:

— Ха, туман, туман!.. Посмотрите фотографию моей дочери, мисс О'Джэрсии... и вот ее сквит-харт, клэрк из Сити, ха!.. это самое главное, ха!

Человек из России был уже немолод; английские туманы, бизнэс и стриты, где все дома, как один, — крепко отложились на нем, на бритом его лице с сизым английским румянцем, нето очень здоровым, нето очень болезненным, но обязательно таким, где из каждой склеротической венки прет воля, — и только в глазах осталась еще от русской печали полей и починок, и от поокской русской дряхлости. Здесь, в кабачке, его ждал второй русский, точно такой же, как он. Они пришли одновременно. Они одновременно сняли свои черные плащи и повесили их рядом, на гвоздик, где вешал свое пальто и Диккенс. Они сели друг против друга к столу в белой скатерти на скамьи с высокими спинками; их седые головы — каждому голова сидящего против него — должны были бы показаться на фоне этих спинок старинными английскими портретами добродетельных пьяниц из Национальной галереи, и спинки скамеек; пожелтевшие от столетий, изъеденные древесными жучками, были изрезаны веселыми изречениями, инициалами, датами, хранящими в себе память столетий, и казалось, что именно от них, от спинок и столетий на них, пахнет старым сыром, запахом, чуть-чуть напоминающим запах пота. Лакей-министр безмолвно поставил две пайнты пива и отошел в сторонку, чтоб под вторую пару приготовить две тарелки пая из голубей и чтоб после старого сыра дать третью пару.

И, потому — что за кабачком туман и город стих, потому — что они старики, одиноки и русские, а лакей-министр рассудил дать третью кружку пива, — у них длинный русский разговор, и — потому, что они русские — разговор у них о России. Табак их трубок пахнет, как все английские табаки, экзотикой заокеанских стран и мореплавателей, — недаром англичане — мореплаватели и их табак называется «морским вкусом». И труд англичанина никак не пропах старым сыром, он пахнет скорее табаком. Русские медленно съедают сыр. Они говорят долго...

— Я расскажу вам историю; она произошла уже больше четырех лет назад, в 1918 году, в России, в Заволжье на юго-востоке, когда там бунтовала степь и шли чехо-словаки. Там на хуторе жила семья моих друзей, бодрых и здоровых людей. Старик, горный инженер, умер, и главой семьи была старуха-мать, у нее было два сына, сыновья были женаты на прекрасных русских женщинах, одна из жен, Ольга Дмитриевна, ждала ребенка. Впятером они жили в степи, культур-трегерствовали и трудились. И на их хутор напали киргизы, убили сыновей, мать-старуха и обе снохи были изнасилованы — тут же на глазах у убиваемых мужей, и — когда убивали их, Ольга Дмитриевна ждала ребенка тогда, и ребенка она скинула на другой же день после — после этой ночи, а вторая, Мария, сейчас же после этой ночи забеременела... И вот подумайте о хорошей русской женщине, которая любила мужа, мужа которой убили ее насильники, которая до самого дня рождения ребенка не знала — кто отец ее ребенка — муж, который никогда не вернется, и его сын — единственная о нем память, или насильники, загадившие ее душу и тело? — И у нее родился маленький косоглазый киргизенок, красный, как все новорожденные, и когда его хлопнули по донцу, он всхлипнул и заорал тоже, как все новорожденные... — Так как же приняла мать этого ре-

бенка? — Она лежала в родовых муках, а когда они прошли, она попросила к себе ребенка; ей боялись его показать, дали и — и она прижала его к своей груди, просветлела вся, как все матери, впервые взявшие в свои руки своего ребенка, в прекрасной радости бытия, еще не свыкшаяся с тайной рождения... Это — жизнь. У Ольги убили тогда неродившегося ребенка, — и — знаете — она приходила потихоньку, тайком, к Марии, чтоб поласкать, понежить ее ребенка, чтоб приласкаться к нему... это — жизнь, жизнь — страшная трагедия!.. С Марией мы бродили по Лондону, когда она была девушкой, были в этом кабаке, — тогда вот здесь она говорила о величии человеческой культуры; ее поразил этот кабачок, она полусерьезно хотела поцеловать вот эту стену, и целовала камни парламента, как святыню человеческой культуры... Насколько древнее, значимей, — страшнее — человеческая жизнь...

Попугай в клетке весело расхохотался. Ирландец, вспоминая свою дочь, переселился от стойки беседовать с попугаем. Лакей принес и положил безмолвно на стол перед русскими коробку сигар и билл. Пришла семья американцев, осматривающих Лондон. Русские встали, надели свои плащи, раскланялись, вышли в туман; на углу они распрощались; туман, через два шага, их расформировал в себе; город безмолвствовал.

Дома у себя, во флате, старик переоделся в халат, затопил камин, сел в низкое кресло к камину, закурил трубку и так сидел очень долго, устало, дряхло, по-русски, как старики в России; потом он достал сифон с содовой водой и бутылку виски, поставил их на ручку кресла, сел опять в кресло — с блок-нотом в руках — и стал писать, положив блок-нот на колено. Камин стал тухнуть, горел так же дряхло, как дряхл был теперь старик... К семи часам старик стал передеваться в динер-жакет и вновь ушел

в туманы, теперь уже в черном пальто и цилиндре; на Россел-сквере — студенческом бульваре — лифт сбросил его под землю на десять этажей; там подземной железной дорогой он проехал на Пикадилли-серкус, там он прошел на Пэлл-Мэлл. Над городом стала ночь, упорно горели фонари, от них туман был коричневым, иногда на момент наверху в тумане прорывался каскад огней плакатов и реклам, — но все же ничего не было видно кругом, и за два шага впереди и два шага назад возникали встречные, их было немного, и от них шелестела улица.

К одиннадцати старик был уже дома и, как все англичане, переодевался в пижаму ко сну. Электричества он не зажигал, и светил только камин. Опять, вместо обычного скрежета железа и стали, в необычайной тишине напомнил Россию церковный звон. И лежа в постели на шерстяных — по-английски — простынях, в шерстяной пижаме, старик думал о России, о родине, по-старчески, когда старость должна оправдать все, всю пройденную жизнь, и старик понимал, что ничто не будет оправдано, если он не понесет свои кости на свою землю.

Город был в тумане. Город и все ждали, когда с океана подует ветер и сгонит туманы с Лондона. Должно быть, если взглянуть на Лондон с Парламент-хилла, с горы, откуда когда-то наблюдали мятежники, как должен сгореть парламент, — туманы над Лондоном, освещенные изнутри миллионами электрических лампочек, Лондон под туманом — мог бы показаться городом на дне морском, фантастическим городом, русскому — Китежом-градом...

.....

Всю ночь в степи полощились птицы, останавливаясь в перелете на север здесь отдохнуть. Ночь была темна, но было тепло совсем уже по-весеннему; снег стоял быстро,

в несколько дней, теперь шумели ручьи, торопилась трава, птицы полетели все сразу, — весна пошла поспешно, всем надо было спешить. С вечера накрапывал было дождь, скоро перестал, к полночи совсем прояснилось; поднялся месяц, звезды размещались по-новому, готовясь к июню, когда им надо обновляться. Гуси кричали рядом на горе у ручья, где-то чуть подалее клекал сторожевой журавль и перекликались самки, засыпая. Ручей падал водопадом. Надо было спешить. Всю ночь три женщины работали у плотины, бодро и весело: спешили починить плотину, чтобы не разорвала вода, рубили топорами дерево, таскали землю, забивали сваи. Перед рассветом, как всегда, на несколько минут стало особенно темно, и после этого быстро стал лиловеть восток. Тогда стало слышно, как забили крыльями птицы, поднимались с земли, чтобы лететь на север, к гнездам.

Никола на-Посадьях,
16 сентября 1923 г.

НЕРОЖДЕННАЯ ПОВЕСТЬ

Это — Шпицберген, семьдесят восьмая северная широта, декабрь, ночь на полгода, — радиостанция. Кругом — снег, камни, льды, горы и ночь, такая ночь, многонедельная, седая, когда можно неделями спать. Здесь на метеоро-радиостанции их трое, — вчера похоронили четвертого, — восемь месяцев тому назад похоронили пятого, шестого и седьмого, умерших от цынги. Судно было здесь последний раз год четыре месяца назад: это судно и привезло их. Хоронить, закопать в землю можно только весной, в июле, когда оттаает снег: того, кто умер вчера, положили в брезент и засыпали льдом, чтобы не откопали, не съели собаки. Предполагалось, что они пробудут здесь год; летом судно шло за ними, они менялись радио, но судно не пустило льды; потому что умерли товарищи, и весной они, живые, набрали яиц и набили тюленей, они не голодают, — но бумага у них вышла вся, основная цель их зимовки — запись погоды — нарушена; чтобы не обесмысливались их дни, он, начальник радиостанции, трижды в сутки телеграфирует на Грин-Харбург сводки. Вчера было 24 декабря, сочельник, — вчера похоронили товарища. Вечером — оставшиеся трое — собрались у начальника: они — начальник, рабочий и механик, — все трое они нарядились, и начальник достал пунш и виски, — все трое они были норвежцами, из Тромсэ. К полуночи

они были пьяны, в полночь их поздравила радиостанция Шпицберген, — и тогда начальник ответил:

— К чорту!

Они замуравили во льды товарища, они были пьяны, — они сидели молча, потому что все было сказано. Начальник поставил радиоприемник на волны радиостанции Христиания; но в мире в эту ночь все радиостанции сошли с ума, и оттуда, из тысяч верст, где нормально жило человечество, ничего нельзя было изловить, — приходили отрывки концертов, речей, поздравлений, — в арию «Торреадор, смелее, брат» вмешалась политическая речь «Миллионы рабочих Америки», — и тогда начальник пустил по всему миру еще раз:

— К чорту!

Здесь, на метеоро-радиостанции, отрезанной льдами и горами от ближайшего человека на сотни миль, сохранились колбы для сифонов, чтобы делать содовую воду; эти трое пили сода-виски; они были пьяны; тогда начальник взял сифон и стал бегать за двоими остальными, поливая их из сифона, точно он стрелял из ружья; и все трое хохотали.

Затем все трое пошли спать. И начальник, немолодой уже человек, грузный, медлительный, видел за часы сна многие, должно быть, пьяные сны. Он видел, что они были в Тромсэ, все вместе, с семьями, женами, в ресторане, — и среди них был тот, который вчера умер: этот сон был мучителен, — он, начальник, все время старался, чтобы разговор не касался смерти умершего; как только заговаривали об умершем, он прерывал, переводил разговор на другие темы, чтобы не сделать больно жене умершего, — и каждый раз тогда наклонялся к умершему и шептал ему:

— Тише, тише, ведь жена не знает, что ты умер; фру Виктория, она не знает...

Монтер говорил (тот, что умер в прошлом году): «А помнишь, Эдвард, когда я еще не умирал, мы с тобой ходили на медведя». — Но начальник перебивал, прыскал из сифона, нарочито хохотал и говорил: — «Хэ, монтер, монтер, — ну, да, ты умер восемь месяцев тому назад, но Эдвард был жив, и он не ходил с мертвецами на медведей». — И шептал умершему: — «Тише, тише, Эдвард, фру Виктория, она не знает, что ты умер, хэ!» — И там, в Тромсэ, в ресторане, они пили шведский пунш.

Начальник проснулся от беспокойства, выпил воды, — подошел к окну. Окно было в толстейших хвощах мороза, — но все же видна была за окном окаменевшая в морозе, мертвая земля и над нею месяц, тот, который светит неделями, — а с другой стороны — столбы северного сияния. Голова, как никогда, была ясна — и, как никогда, отчетливо стал ужас их положения, их мужества, этих троих, умирающих в снегу; он взглянул на себя и на своих товарищей со стороны — тем математически верным глазом инженера, который у него остался от института, — и ему стало понятно, что и он, и его товарищи — ненормальны, полусумасшедшие, у каждого есть свой пунктик, каждый измотан для здоровой жизни и отсюда, со Шпицбергена, переедет первым делом в психиатрическую больницу. Он подошел к радиоприемнику, провел ручкой по всем волноприемникам: все радио мира уже были заняты буднями, передавали сводки телеграфных агентств. Он взглянул на часы: в Европе, в Норвегии, уже светало, на Средиземном море был день, утро. В домике было холодно, ниже нуля; он налил в камин тюленьего жира, зажег его и лег в свой мешок. И перед сном, с перепоя, опять пьяно спутались мысли: было похоже на то, что голова его — радиоприемник, куда идут сразу все волны всех радиостанций, — голова закружилась, мысли омаслились,

расплылись, поползли червяками, запутались, заплелись в неразбериху, — исчезли, — он заснул.

И во сне он видел:

...кипарис стоит около ключа, заделанного в камни, чтобы из него удобно было брать воду; наверх идет гора, вершины гор в лиловом тумане, вершины гор лысы, опоясаны лесами, в лощинах белые остатки снега; под горою голубое море — голубое вдали и зеленое у берега, в камнях; ко ключу ведет каменистая тропинка, камни в утренней росе, — тропинка идет от ключа вниз к морю; за деревьями рядом, за кипарисами, за цветущими иудейскими деревьями, за каштанами — мечеть, и там в утренний час Востоку кричит муэдзин непонятные слова, похожие на степной крик верблюда; — и солнце над миром, прекрасное солнце, золотое солнце, — и туманы идут из лощин, — и к ручью подошла девушка с кувшином на плече, набрать воды, — и девушка улыбнулась солнцу и морю, и она прикрыла ладонью от солнца глаза, и загоревшие ноги ее были босы...

Утром пришел рабочий, зажег лампу, растопил камин, согрел кофе. Начальник просыпался медленно, долго лежал в мешке. Он спросил:

— Какая температура, влажность, сколько баллов ветра?

— Мороз сорок два градуса, влажность — — сказал рабочий.

Механик пустил уже динамо. Механик сказал в дверь:

— Попался один песец.

Тогда начальник стал быстро одеваться, он не пил кофе, он выпил сельтерской и пошел к аппарату... — Кто знает — в полубреду, когда мысли идут ледоходными льдинами, трещат, лезут одна на другую, — не есть ли мозг человеческий испорченным радиоприемником? — И, быть может, пройдет недолгий десяток лет, когда человечество вместо

радиоприемников будет просто включать мозги? — Начальник включил ток высоким вольтom, чтобы громче крикнуть в пространства, — и он крикнул:

— Радиостанция Шпицберген, Тромсэ, Христиания. Температура — сорок два градуса жары, зацветают апельсины, миндаль уже отцвел. Ловятся тигры. Солнце светит к чорту — сорок восемь часов в сутки — —

Шпицберген-Грин-Гарбург запросил:

— Какое несчастье случилось? Кто болен?

В полдень радиостанция ответила:

— Температура понизилась, тридцать восемь градусов жары. За сутки родилось четыре человека, вечером ожидается пятый. Новорожденные зарыты в снегу.

Вечером радиостанция Грин-Гарбург телеграфировала:

— У аппарата врач. Сообщите признаки болезни, сколько живых и здоровых людей осталось, какие медикаменты имеются?

Начальник ответил на эту радиотелеграмму:

— «Рабочие России, Италии, Франции, Америки объявили всемирную забастовку, все живы и здоровы, сейчас родится новый, медикаменты останутся для мертвецов».

Начальник выключил аппараты, ушел к себе в комнату, разделся, переменял белье, надел все свежее, лег в мешок и застрелился.

На самом деле в этот день утром был солнечный день, шли туманы от моря и в лощинах меж гор, уходили в золотую голубизну горы, кричал муэдзин, и к ручью подходила девушка с кувшином на плече, набирала студеную воду, несла ее в домик с плоской крышей, врытый в лиловую гору, около платана. И девушка, быть может, ни о чем не думала, кроме того, что надо поспешить с водой, потом замесить лепешки и пойти на берег, отнести отцу-рыбаку этих лепешек, — и во всяком случае она никак не думала об Арктике, о сумасшедшем инженере-радисте, —

очень возможно, что девушку ночью в ее сенях донимали клопы — —

...А я, автор, в ту ночь ехал на извозчике с Дмитровки на Поварскую. Извозчик был скверный и молчаливый; молчали, поговорив о стоимости овса. Извозчик, чтобы сэкономить расстояние, пополз Леонтьевским, переехали Тверскую. Я посмотрел на небо, на звезды, увидел Полярную, она была ярка, хотя была полная луна, — и мои мысли зацепились за Полярную и за луну. О Полярной я думал недолго, обо всем том, что написано выше, — но луна заняла меня до самой Поварской; я хотел подыскать слово для луны, такое, которое еще никем не сказано. — Круглая, зеленая, полная, — нет, не так, — сухая, замороженная, ледяная, — нет, не так, — безразличная, покойная, черствая, добрая, глупая, — нет, нет, не так: поди ж ты, светит и мне в Москве, и в Мадриде, и в Париже, и на Шпицбергене, быть может, знакомый какой, приятель, глядит на нее из Лондона и обо мне подумал, — луна — как рубль (если луна в море отражается, можно сказать — «рубль луны разменен на серебряные пятаки водою», — это хорошо сказано, луна, как горшок, — нет не придумаешь, все сказано), — какое слово ни придумай, — все перебрали. Так я и не придумал слова для луны.

Гаспра,
28 мая 1925.

ОЛЕНИЙ ГОРОД НАРА

«Луна посыпала росу» — «полный месяц — длинный вечер», — «ветер и луна — знают друг друга»: эти фразы подслушаны мною у японцев. И те вечера в Наре были очень лунны.

Тысячу триста лет тому назад город Нара был японской столицей. Ныне от этих столетий в городе осталась сосновая тишина, и сосновое — кажется — светит над городом солнце. И ныне, должно быть, это единственный город, который состоит не из домов, а из древнейшего парка и населен, кроме богов, памяти и людей, — теснее всего населен священными оленями, в честь которых — в сосновой тишине парка, под сосновым солнцем — многие уже столетия стоят храмы.

В городе, который выродился в столетние леса, в котором пасутся олени и в соснах стоят храмы, покоится исполинское изваяние Будды Дай буцу, лотос под Дай буцу в шестьдесят девять футов окружностью, высота его в пятьдесят три фута, и усмешка его хранит непонятность всех феодальных столетий. Людей, кроме бонз и паломников, в этом городе нету. Чтобы проехать в этот город, надо ехать длиннейшими горными тоннелями, — и вокруг города — горы, в зелени лесов сначала, а выше, там — в холоде камней. Сосновая тишина, олени да боги — горный ветер, бег оленей да буддийские колокола — нарушают тишину этого города.

И в этом городе, около парка, над озером японцами для американцев построен отель — Нара-хотэру — для тех американцев, которые на экспрессах в шесть месяцев путешествуют вокруг Земного Шара, чтобы осмотреть за этот срок мировые достопримечательности. Отель построен по всем правилам англо-американских солидностей, строгих гонгов, бесшумнейших боев, тщательнейших брекфестов, ленчей и динеров, мягчайших кроватей, удобнейших ванн с резиновыми душами, покойнейших гостиных и читален, где собраны книги и журналы всего Шара, вплоть до русских «Известий» и «Красной нови», — и, хотя и написано в справочнике, что «комнаты (по-американски) 7,50 иен и дороже за сутки», — дешевле четвертого сутки там не получаются.

Я приехал в Нору, чтобы подслушать ее тишину, я поселился в Нара-хотэру, чтобы побывать в быте «эмпрессов», — и я поехал один, без переводчиков и друзей, — чтобы понаслаждаться одиночеством в молчании единственного этого города, где люди не нужны. Со мною была Ольга Сергеевна, человек, с которым я умею молчать. За моим окном было озеро, за озером парк, парк уходил в оленные горы, к храмам, — оттуда шли звоны буддийского колокола, и было совершенно верно, что «ветер и луна знают друг друга», потому что с гор в эту майскую ночь дул холодный и какой-то пустой ветер. И после динера я не пошел из отеля. В гостиной сидели безмолвные американцы, дамы пили кофе, мужчины курили. В баре у стойки англичане пили виски и по команде хохотали. В тишине читальной было пусто. Шопотом, по-русски, я порадовался, нашед «Красную новь». Кроме нас, в читальной сидели двое: я решил, что он швед, а она — французенка. Я листал «Красную новь», — и я увидел, что швед взял «Известия».

— Вы говорите по-русски? — спросил я.

— Да, немножко, — ответил он.

В первые десять минут мы с удивлением узнали, что оба мы писатели, — он передал мне свою визитную карточку: П. Г. — он был еврейским — из Америки — писателем, — американско-еврейским. Почти тридцать лет тому назад он покинул Россию, и он с трудом говорил по-русски. Его жена, тоже еврейка, родилась уже в Америке, и русские слова в ее памяти возникали сквозь сон рождения. Через час мы пошли гулять, в тот ветер, который знает луну.

— И три моих нарских дня навсегда будут связаны в памяти моей с этими двумя прекрасными людьми, с мужем и женою Г., людьми, дорогими мне — и скорбью и нежностью. Несущественно, что оба они писатели, что она похожа на французенку, а он на шведа: существеннейшее мне — человечность.

Первым тем вечером, когда луна знала ветер, поистине, полная эта луна родила длинный вечер. Мы шли парком неизвестными мне тропинками, — и все пытался мистер Г. зажечь спичку, чтобы показать мне нечто в кустах, — но спички тухнули в его ладонях, освещая на момент седые волосы. Он шутил и не открывал своей кустарной тайны. Мы говорили о пустяках, теми мелочами, которые, — как булавки, растягивающие шелк на пальцах, чтобы на шелке шить кружева, — устанавливают человеческие отношения. — Да, у мистера Г. были седые волосы, зачесанные назад, да, серые его глаза были усталы и печальны и очень медленны. Она же, миссис Г., — была молода, черноволоса, обильноволоса и очень красива, и таинственна для меня, заново рождающая русские слова, найденные во сне рождения. До последнего установленного по-американски ко сну часа просидели мы на веранде, в синем лунном мраке и в ветре с гор, четверо в этом странном городке, мы двое в десятке тысяч верст от родины и от людей общего языка, они двое — —

Они двое изъездили весь Земной Шар. Они были в Капштадте, в Австралии, в обеих Америках. Сейчас они покинули Америку в 1924 году, пробыв год в Мексике, пять месяцев они плавали с грузовым пароходом по островам Тихого океана, — теперь они в Японии, осенью они в Китае, весной в Индии, новой осенью в Палестине, — в январе 1928 года — в России, в Москве. Мистер Г. сказал мне, что всегда, с первых же слов знакомства, он говорит о своей национальности, потому что очень многожды раз было в его жизни, когда, — по быту его жизни, по его наружности, костюмам и манерам, по тем отелям, где они останавливались, — часто не узнавали их национальности и, узнав, очень часто делали вид, что — их — не узнают. Мистер Г. сказал, что они путешествуют одни, у них никто нигде не остался и не ждет их, — он никому не пишет писем, кроме корреспонденций своей газете, — нигде никто не ждет их, и они могут путешествовать сколько угодно. Миссис Г., рождая заново слова, говорила, глядя на луну, о ночах в Африке, в Австралии, в океанах. И в полночь в Наре отбивают тишину буддийские колокола. Полный месяц знает длинный вечер.

— На три дня я поехал в Нору, чтобы одиночествовать: — эти люди так, как я в Наре тремя днями, одиночествовали, одиночествовают — многие годы!..

И наутро, в сосновом солнце, — заботливейшей нежностью, сердечностью и внимательностью встретили нас эти люди. За табль-д'отом мы приказали сдвинуть наши столики, — и у меня был отец, который заботился, чтобы я хорошо ел, — именно отец. Наши дамы чуть-чуть те-риблствоваали за брекфестом и сейчас же после завтрака побежали в кустарную лавочку при отеле рассматривать игрушки, платяшки и покупать *tout à fait japonise*. Мы, мужчины, сели в кресла на террасе, над озером, в сигарном дыме, в должном для американцев покойствии

и благочинии, пока не пришли наши дамы. И вернувшись Ольга Сергеевна шепнула мне о своем смущении, потому что миссис Г. вела себя так, точно хотела всю лавочку перекупить и подарить Ольге Сергеевне. В американском покойствии и в сигарном дыме мы, мужчины, вели совсем не американские разговоры, потому что мистер Г. спрашивал меня о евреях в России, и всей искренностью я говорил об этом распепеленном народе, — всей искренностью и всей той осторожностью, которые я мог собрать, ибо мне скоро стало ясным, что для мистера Г. вопрос о судьбах еврейского народа и о судьбах его в России — гораздо существеннее, чем вся его жизнь. Совершенная осторожность, я полагаю, кроется в совершенной откровенности, в откровенности же кроется и искренность и честь. Если нервы человека представить березовой берестой, сворачивающейся на огне, если представить, что эта береста будет выправляться, как ослабнет огонь, то передо мною в то утро сидел человек, нервы которого были похожи на березовую бересту. Словами своими — отцовски — он гладил меня по голове, этот седой человек с усталым лицом шведа и еврея одновременно, с сердцем, как береста. Мне хорошо было чувствовать себя сыном, но, как часто сыновья, я чувствовал себя сильнее отца...

Этот испепеленный народ, рассеянный по миру, пьющий чашу строительства социализма в Союзе республик моей родины, — этот седой человек с бритым лицом философа, писатель и пророк этого рассеянного народа, отец, который не судит, но хочет знать, — только знать для того, чтобы иметь мир, чтобы иметь покойствие за свой народ, — этот человек, который бродит по миру от одного отеля к другому, который не имеет родственников и говорит на всех языках мира — человек, узнавший, что истины возникают всюду, даже в мерзости погромов...

Наши дамы давно уже с русского языка перешли на французский, чтобы сообщить друг другу об улицах, делах и событиях — событиях их дел — в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве, Мехико, Токио.

Мы пошли в парк, к храмам, к стадам оленей, в сосновую тишину, в сосновое солнце, — я узнавал, что вон тем часовням на горах — пятьсот лет. О тишине парка и о Дай буцу я написал уже. Теперь я хочу говорить о другом. Мистер Г. повел меня в чащу деревьев, куда не заходят люди. Он не предупреждал меня ни о чем.

— Вот, смотрите на этот куст. Что вы видите? — спросил он.

Я ответил, что я ничего не вижу.

— Присмотритесь.

Я присмотрелся и ничего не увидел. Тогда он мне показал, что одна из веток этого куста — искусственная — она сделана пауком, сплетена сеть паука, и на нее паук натаскал кору. — Он повел меня к другому кусту. Прутиком он снял паука, тот побежал, — его же паутиной запутал его мистер Г. Этого паука мы посадили в чужую паутинную сетку.

— Подождемте, — сказал мистер Г., — этот паук сильнее, он прогонит хозяина. Сначала они будут драться, затем хозяин убежит.

Имя писателя Г. мне было известно до встречи с ним, его надо поставить в ряд с еврейскими писателями Перетцем, Шоломом Алейхемом, Бяликом, — мистер Г. сказал смущенно, наклоняясь к пауку:

— Кроме моих повестей и пьес, вот уже двадцать лет я пишу книгу о пауках, о их быте, их разуме, их особенностях. Я знаю больше тысячи видов пауков. Всеюду, куда бы я ни приезжал, — сюда, в Австралию, в Аргентину, я разыскиваю пауков и слежу за ними, пишу их дневники. — Мистер Г. прочел мне маленькую лекцику о пау-

ках, которую восстановить я не могу, потому что я не знаю ни научных пород, ни научней литературы, ни утверждений различных научных ученых.

Но — вот: все три мои дня в Наре каждый день я ходил с мистером Г. на его научьи экскурсии, утром, в полдни, вечером (с электрическим фонариком), — и в этом древнейшем городе, который тысячу триста лет тому назад был японской столицей, а ныне существует для сосновой тишины, город единственной архитектуры, город для священных оленей, — в этом городе — я увидел гораздо более таинственное, чем многосаженный Дай буцу, — таинственную жизнь научных пород, — и таинственную, и жестокую, и трагическую, где самки поедают самцов в тот час, как самцы оплодотворяют их, где сильный побеждает слабого в открытом бою, где слабый, но хитрый (или — умный), побеждает сильного, но глупого, где нет никакого равенства, где справедливость строится на силе и все судится единственным судом — смертью. Утром, днем и вечером, в чащах города Нара, на стенах нашего отеля, в полумраке храмов — руками и уменьем мистера Г. — я прикинул к этому таинственному, — живущему, чтобы жить, вопреки бытию муравьев, пчел и человека, — живущему страшным одиночеством, разбоем, смертью.

В час мы ленчили, после ленча мистер Г. и я, мы сидели по своим комнатам за бумагу, наши дамы пропадали по своим делам, в пять часов мы сходились к чаю и после чая шли в сосны города, вечером поднималась луна, которую знает ветер. Приходил японский июнь, месяц плесеней, и однажды на Нару спустились облака, точно Нара, святой город, со всеми нами и нашими грехами поднялась на небо.

Так прошли эти три дня, которые в памяти моей священный город Нару смешали с волчьим бытом пауциных тайн и которые заглушены сосновой тишиною и сосновым

солнцем. В сумерки, перед динером, мистер Г. всегда в читальной читал газеты и книги. Он сидел около зеленого абажура, наклонив голову, подперев ее ладонью, — я следил за ним: по десятиминутным лицо его было неподвижно, и не мигали даже глаза, очень усталые его глаза. — Миссис Г. была молода, красива, черноволоса, женщина, воспитанная по-американски, свободная и достойная. Я мужчина: ничего не попишешь, — кроме того, как я воспринимаю людей, каждую женщину я воспринимаю еще и по-мужски. Вот эта женщина, которая за мужем бродит по всему миру, молодая женщина, у которой все впереди. Был вечер, вчетвером мы возвращались с пауков, я подал руку миссис Г., чтобы помочь ей войти на мостик: я ни в какой мере не хочу оскорбить ее память, — вдруг тогда, когда она ступала на мостик, мужски я понял, как прекрасна эта женщина. — Она писала стихи: в тот вечер я попросил ее перевести мне ее стихи и прочитать их мне на языке их возникновения, древнем еврейском. — Это были ночные, лунные стихи; миссис Г. сложила балладу о своих волосах, об обильных черных волосах, смолистых, которые распушены и в которых под луною отражается синий свет луны, которые синеют в лунном свете. — В сумерки, в читальной я присматривался к лицу его, ее мужа, этого человека, которого я принял, как отца, который бродит по миру из края в край, которого я стеснялся спросить о том, почему у него нету своего дома, но бродит, который совершенно по-американски, твердо рассчитал, что в Москве мы встретимся в январе 1928 года, — человек, который пишет книгу о пауках — не для печати. Лицо его было очень устало, не физической утомленностью, но усталостью раздумий... а образ стихов миссис Г., тот, что под луной волосы светятся, как в море, — я никогда не забуду...

...«Полный месяц — длинный вечер» — «луна посыпала росу» — «ветер и луна — знают друг друга»... — Мы рас-

стались с Г. в городе Киото, куда Г. поехали нас проводить. Мы спустились с нарских гор к долинам Киото, этого города императорских замков и дворцов, монастырей, музеев и храмов, города микадо эпох феодализма, уделов и Токугава, — и Киото встретил нас плесеными, теплыми, как в бане, японскими дождями. Дождь лил весь день, все сумерки, всю ночь, проливной дождь, стена воды. В киотском отеле можно было скинуть американство. Это был вечер расставания, мы собрались попросту в моем номере, все четверо. Мне было ясно, что этим людям со мною хорошо — не только по причинам, зависящим от моей индивидуальности, но и просто — даже, сколько это ни свиновенно — потому, что первые фразы, когда мистер Г. подчеркивал свою национальность, для меня не могли, как для многих европейцев, стать поводом к тому, чтобы перестать кланяться. — Мы сидели в моем номере, таком, который заключил в себе всю неуютность всех гостиничных номеров мира. За окнами лил дождик, удивительнейший, — за окнами лежал замковый, музейный, храмовой Киото: мне стало понятно, почему так в чести у японцев лаковые изделия, — в этом дожде этот город был построен из серого мореного дуба, и залакировано было все: небо, камни мостовых, дома, храмы, парки, лебеди за окном моего номера, около канала в садике.

В этом номере, таком же, как номер в любом городе мира, мы прощались. Мистер Г. подарил мне парчовую книжечку для записи памятей, — и он первый написал мне в нее, на древнем своем языке:

«Вековую тяжесть положила Россия на мои плечи. Колени сгибаются под этой тяжестью на побочных путях. Я приближаюсь опять к этой стране. Новая жизнь в России облегчит мне мои тяжести, и такая надежда растет во мне, когда я говорю о вами, Борис Пильняк»...

Мы улаивались встретиться в Москве, в январе 1928 года.

И тогда я спросил о том, что раньше я стеснялся спрашивать. Я спросил, почему он так ссудил свою судьбу, что у него нет дома, что дом его сложен в чемоданы и идет с ним по номерам гостиниц Земного Шара? — почему он так бродит по миру, вдвоем с женою?

Он мне ответил:

— Я езжу по свету не потому, что я приезжаю, а потому, что я уезжаю. Я брожу по миру не потому, что я хочу увидеть невиданное, но потому, что я не могу видеть знакомое.

Он помолчал. Он сказал:

— Нету места в мире... — и не кончил своей мысли.

...Я постыдился спросить о пауках. Я смотрел в лакированный мрак и на лакированные фонари города, на храм перед гостиницей. Ночью, когда мы разошлись, чтобы спать, я записал в свою новую книгу памяти:

«Как велик Земной Шар — как мал Земной Шар. Я научился у Японии тому, что все течет, все проходит. Сегодня я приехал сюда из Нары, завтра я буду в Коба, — а там — просторы Великого океана, великие просторы»...

Да. Нара же — единственный в мире город, переставший быть городом людей, ставший городом оленей.

Москва на Поварской,
13 ноября 1926.

ЛОРД БАЙРОН ¹

Бриг, такой, какие ходят по морям наперекор стихиям и имеют за собой трехсотлетнюю историю, вышел из Золотого Рога в ночь с двадцать третьего декабря на двадцать четвертое. Под парусами всех трех мачт бриг в день прошел Мраморное море и в закате дня вышел в Эгейское море и в рождественскую ночь. Судно шло на Смирну, несло всякую рухлядь, чтобы из Смирны взять валенею и винные ягоды.

Огни Чанака потухли в ночи. Эгейское море встретило ветром, который к рассвету стал штормом, когда перемешались со мраком и водою маистры, пунентии и грэготримунтаны. Дождь переходил иной раз в изморозь и колол льдинками, как бывает в Эгейе только в декабре. Дождь спрягал пространство, казалось, что мачты подпирают облака. Судно валилось с волны на волну. Топовые огни, красный и синий, когда начинал валить снег, упирались в самую обыкновенную метель, какие бывают в горах на Леванте и в России. Капитан приказывал все новые и новые приспустить паруса, и ветер свистел в такелаже, выл рангоут, а в трюме остервенело катались, по команде волн, пустые бочонки.

Было очень буднично, но спать не полагалось, как не полагалось и пить. Кают-компания была всем, чем

¹ Рассказ написан совместно с П. Павленко.

удовно. Под потолком здесь качала свой свет керосиновая лампа-молния, на нарах валялись несвежие постели, прикрытые овчинными одеялами, по столу и по стенам ползали рыжие тараканы, стол был очень похож на столы в кухнях, изрубленный кухонным ножом и многожды засаленный. В кают-компании пахло смолой, лимонами, потом, табаком и кофе, и, потому что все было задраено, было очень душно.

У стола сидели трое в молчании за чашечками турецкого кофе: капитан-турок, старик в национальном костюме, громадная сажень с лицом цвета апельсина, совершенно седой, небритая щетина которого на голове и на челюстях походила на иней, облотивший апельсин, — помощник капитана, русский шкипер, эмигрант в форме русского морского офицера. Третьим был гость. Национальность гостя трудно было определить, он был то, что называется левантийцами, когда национальность смешана многими кровями, прошедшими по берегам древностей Ближнего Востока. Он был голубоглаз, низкоросл, худощав и хром. От его пиджака очень пахло оливковым маслом, и можно было предположить, что он торговец оливками. Он курил папиросы «агали», которые курят хамалы, самый дешевый сорт, но галстух его был шикарен, парижский, стоящий добрых пять лир, левантийское франтовство, — и он был в лаковых туфлях. И можно было отказаться от утверждения в том, что он торговец олифами, возникшего из запаха, и решить, что его судьбу на этой морской перекрестке определила биржевая работа, болезнь, требующая быстрого применения крепких горчичников из сплетен и грязи, старых снадобий цивилизации, не только в Стамбуле, но и в Смирне. Левантиец был неинтересен капитанам, они молчали, но они забыли ему предложить логовище, и он, из вежливости, спал за столом, поло-

жив курчавую свою голову на скрещенные руки. Курчавые его волосы были цвета жженных каштанов. Ногти его — отполированные — были грязны. Спал левантиец, как спят очень хорошие, злые и чуткие собаки, — каждый шорох заставлял его поднимать голову, и глаз был не сонным.

Приходил вахтенный, доложил, что заносит ют. Капитан распорядился убрать паруса с бизани. Левантиец, не поднимая головы, одним глазом внимательно осмотрел вахтенного, в голубом его глазу мелькнул злой огонек, — он позевнул, вздрогнул и закрыл глаз.

Шли часы. Судно скрипело и дрожало в волнах, громыхали бочки в трюме, совами выли ванты. Капитаны курили трубки и пили — мельчайшими глотками — черный, горький кашицеобразный кофе. Шторм никак не мешал тараканам, но лампа все быстрее и быстрее металась под потолком, и капли соленой воды капали с шелестящих водою люков. Было очень медленно и скучно.

Пришел вахтенный и доложил, что на минуту был виден маяк Тәнедоса. Левантиец открыл оба глаза, откинулся к стене, к луже, подтекшей под люком, тряхнул кудрями и поднялся, — руки в карманы, закинутая голова, презрительный взгляд, — как делают несправедливо оскорбленные люди. Оскорбленным человеком он хотел было пройти по каюте, — но его кинуло от одной стены к другой, фалды пиджака его разлетелись, и он поспешно сел. Он поднялся и пошел к вешалке, он надел шляпу и взял в руки пальто.

- Что ты хочешь делать? — спросил капитан.
- Я хочу выйти на палубу, — ответил левантиец.
- Нельзя, — сказал капитан.
- Почему? — спросил левантиец.
- Смоет волной, — ответил капитан.

Левантиец повесил шляпу и сел на прежнее место. Он был оскорблен и взволнован. Он положил руки в карманы и выпятил вперед грудь. Он заговорил. Капитаны отвечали ему медленно и неохотно. Они говорили по-французски, на языке, который стал на Ближнем Востоке языком левантийцев.

— Вы русский? — спросил левантиец шкипера.

— Да, русский, — ответил шкипер.

— Меня зовут Исидор Бирон, — сказал левантиец.

— Ага, — ответил русский.

— Революции только теперь низведены на эту, как бы сказать, прозаическую роль куска хлеба. Вот здесь, где мы идем сейчас, сто лет тому назад была романтическая революция, которая еще не успела тогда сойти до хамалов и кафеджи. Джордж-Ноэль-Гордон лорд Байрон умер тогда здесь от гнилой лихорадки, приехавший сюда потому, что великий романтизм владел мыслями людей того незабвенного прошлого! Да! — сказал левантиец.

Ему никто ничего не ответил. Бочки теряли ритм своих падений и громыхали, заглушая слова. Ванты перестали кричать совами и визжали, как поросята. В кают-компаниях скапливалось множество хлипов, мяуков, писков, визгов, рыков.

— Сто лет тому назад здесь, — говорил левантиец, — по этим морям шли суда инсургентов, которые хотели освободить паршизую Грецию от варварства турок — губошников, которые суть внуки эллинов и родители теперешней человеческой культуры. По этим морям и по этим землям прошло так много людей и кровей, столько цивилизации, что каждый камень здесь — памятник, а вы все это забыли. Лорд Джордж-Гордон приехал сюда из Италии, Дон-Жуан, ставший мечтать о справедливости народов, которой я не верю. Здесь

ходили финикияне, греки, римляне, ассиры, арабы, чтобы жульничать, обманывать, предавать, насиловать, убивать, создавать платоновские, кинические, христианские, иудейские, магометанские и прочие философии, конечно, ложные, которым я не верю. Справедливость есть ложь. Правда есть ложь. Правда и справедливость суть героизм. Здесь, в Константинополе и в Смирне, до сих пор продают людей, женщин в тартуши, убивают, лгут, режут, попирают все человеческое, и до сих пор здесь по морям бродят пираты. Один из моих дедов, английский адмирал, которого на всех морях знают под кличкой «Джек морей», дрался здесь с другим моим дедом, пиратом Магометом Кадри-Ибн-Суадом. — Кто может говорить о справедливости? — какие, к чорту, на земном шаре — справедливость, целомудрие, правда? — Джордж-Ноэль-Гордон лорд Байрон, величайший поэт и великий авантюрист, родился от тихой матери, которая свою тишину отдала проходимцу и авантюристу, сыну Джека морей, который бросил ее вместе с ее тишиной, когда она забеременела Гордоном, величайшим поэтом. А этот темнорусый красавец, на которого, говорят, очень похож я, Гордон, в Ньюстедском своем аббатстве, шестнадцатилетним мальчишкой наряжал своих товарищей-студентов монахами, сам облачался аббатом, они пили алкоголь из человеческого черепа, оправленного в серебро, и к ним приходили на моления подружки, раздетые в вакханок. Такие развлечения отступают, конечно, от общепринятой и, в частности, от христианской морали. Историки путаются в именах и количестве любовниц и жен поэта, — я передам истории еще одну любовь Гордона Байрона, — но совершенно достоверно, что его жена, тихая мисс Мильбанк, вынуждена была покинуть поэта потому, что в дни их супружества она находила в

постели поэта шпильки актрисы Клэр Клермонт, подвязки сводной его сестры Августы Ли и Мэри Чэворт, единственной женщины, которую лорд Байрон любил настоящей любовью, также отступающей от общепринятой морали. И так же совершенно достоверно, что лорд Джордж-Гордон выехал тогда из Англии, чтобы больше никогда не возвращаться туда, ибо он был опозорен обществом, по правилам общепринятой морали, брошенный женой поругатель семейных основ, развратник, которого судебная медицина грозила призвать на судебную расправу, нравственно-невменяемый человек, которого бросили женщины и от которого, как принято говорить в хорошем обществе, отвернулись его друзья. — Все эти факты — суть правда, мать поэта бросил ее муж, жена поэта бросила мужа, родина опозорила его, он дал миру прекрасные творения, жизнь он кончил в борьбе за свободу губошной Греции, но умер не в бою, а от гнилой лихорадки. Его мораль мне гораздо приемлемее морали — христианской, предположим.

Левантиец говорил очень возбужденно, но его никто не слушал. У людей, переселивших свою жизнь с земли на море, у моряков, есть правило их профессии — во-первых, считать море живым существом, а во-вторых, — не бояться моря или делать вид небоющихся людей, когда море становится страшным, чтобы не задорить море: и нельзя было понять, пришел ли к капитанам тот момент, когда надо начинать бояться, — казалось уже, что вода, небо, мрак, снег и ветер окончательно перемещались в отчаянном намерении уничтожить трехмачтовую деревянную баржу, визжащую на волнах, закопанную в волнах, снявшую все свои паруса. Капитаны сидели молча, неподвижно, с явною скукою на лицах, пили кофе, чтобы не спать. На палубу они не шли, потому что делать на палубе было нечего, мокнуть не хотелось, а

час, когда надо рубить мачты, чтобы спасти жизнь, бросив заботы о судне, еще не настал.

Левантиец кричал:

— В этих водах пиратствовал, а потом отдыхал от мудрых своих дел Магомет Кадри-Ибн-Суад, полуараб, полуассириец, получеркес. Вот его биография, ибо он один из моих дедов. Он родился в портовой трущобе Бейрута. В восемь лет он лопотал на четырех европейских языках, ходил колесом по набережной, нырял за монетами в воду, куда бросали их остроумные туристы и где ловил их ртом, водил туристов в притоны, где черные и белые женщины аккуратно отдавались приезжим гостям или показывали перед публикой сцены любви, платя своим партнерам половину сбора за номер, — в последних случаях Магомет Кадри бегал в порт разыскивать дежурного, счастливого партнера. В десять лет Магомет знал все законы ближневосточной жизни, и за ум и за хитрость был взят на корабль хиосских пиратов. В шестнадцать лет Магомет оказался в английской военной тюрьме. В двадцать был вновь на свободе. И тогда, поднимаясь все выше и выше по ступеням своей кровокипящей жизни, в тридцать пять лет был грозой и громом восточного Средиземноморья, пират, корсар, командир пиратской флотилии, друг и противник адмирала Байрона, Джека морей, который охотился за Магометом, чтобы убить его, и за которым охотился Магомет, чтобы убить его. Английские чиновники оценили голову Магомета в десятки тысяч фунтов стерлингов, султанские фирманы обещали посадить его голову на кол. Соблазн был велик, и Магомет Кадри решил отдохнуть от бурной своей жизни: он сам продал свою голову, выдав своих сообщников, — воеводе Архипелага Асад Нурулла-паше, — он принес в дар султану ковры, отбитые у арабов, пушки, отнятые у англичан, — и

был прощен, помилован и осчастливлен подарком халифа при приказе «быть до конца дней своих цепным псом падишаха, владеть Тэнедосом навсегда и стеречь ворота в Турцию, Дарданеллы, путь греков». — Такова история Магомета Кадри-Ибн-Суад-паши, человека с Востока. В России цари дарили в знак милости шубы со своего плеча: халиф подарил Магомету Кадри-Ибн Суад-паше женщину перламутровой кожи из своего гарема, англичанку. Магомет поселился со своим гаремом на этом острове, мимо которого сейчас идет наше судно, покойствовал цепным псом падишаха, любил женщину перламутровой кожи и чужого языка, породив от нее дочь и старясь.

Левантиец смолк на минуту, откинул назад свои кудри, спросил русского капитана:

— Вы русский?

— Да, русский, — ответил шкипер.

— Меня зовут Исидор Бирон, — сказал левантиец.

— Ага, — ответил русский.

— Да! — И вот история этой горячей и хитрой земли.

Джордж-Ноэль-Гордон лорд Байрон был водителем и идеологом греческих инсургентов. Была такая же ночь, как сегодня, барк заблудился в шторме ночи. Барк нес разведывательную службу инсургентов. На барке, кроме команды и офицеров, был почетный гость — лорд Байрон. В штормы офицеры надевают свежее белье и очень вежливы в надежде, все же, избежать случая оказаться водным путем пред престолом господа бога. В капитанской рубке сидели двое — он, капитан, и гость лорд Гордон Байрон. В мыслях своих капитан, чего доброго, посылал лорда ко всем чертям, этого бродягу, которому мало в мире другого места, кроме Греции и его, капитана, барка, — но капитан делал вид, что он совершенно не заглядывает в карту, совершенно

не озабочен тем, что судно мотается около берегов турок, где смерть на колу совершенно обеспечена, — и капитан рассказывал гостю морские истории. Должно быть, так же, как сейчас, полчаса тому назад, пришел вахтенный и доложил капитану о том, что судно проходит мимо Тэнедоса, — и капитан рассказал гостю, лорду Байрону, историю жизни Магомета Кадри-Ибн-Суад-паши, как только что рассказал ее я. Должно быть, Байрон вскрикнул от удивления что-нибудь вроде следующего: «Как, на этом острове доживает свой век друг моего деда, Джека морей, не может быть!» — и во всяком случае он очень сживился и взволновался, ибо это была последняя его фантазмагорическая храбрость. Это исторический факт, — лорд Джордж-Ноэль-Гордон Байрон потребовал от капитана, чтобы капитан повел судно в бухту Тэнедоса, даже без «висмайера»: лорд Джордж-Ноэль-Гордон Байрон хотел нанести визит Магомету Кадри-Ибн-Суад-паше, другу по крови и ненависти деда, адмирала Байрона. Лорду Гордону казалось несущественным, что он шел в порт противника и играл в игру, которая могла сделать его голову, как головы и всей команды, свечами на кольях. Должно быть, капитан согласился на эту авантюру, решив, что смерть на колу спокойнее смерти в воде, ибо шторм в ту ночь был таков, когда надо рубить мачты и выносить на бак образ Николая-угодника, итальянского святого. Барк бросил якорь в бухте замка, никогда не знавшего гостей. Лорд Байрон, хромою своею походкой, сам пошел стучать в ворота замка и первый прошел к Магомету Кадри. Есть сила, которая нарушает все законы, эта сила была у Байрона. Байрон поклонился Ибн-Суаду, другу Джека морей. И Ибн-Суад утвердил, — да, с Джемом морей он родился кровно, гость перестает быть врагом, закон про рока выше законов падишаха, друзья друзей суть мои

друзья, тем паче внук друга, дом мой есть твой дом, — и лорду Байрону были оказаны честь и пир в замке паши, где покойствовал владетель с детьми и женами, — с первой женой перламутровой кожи, дочь от которой смешала языки отца и матери. Но шторм не утихал не день и не два, и только мать, женщина перламутровой кожи, знала, как прошел в гаремлик, мимо евнухов, лорд Гордон, чтобы разговаривать с дочерью женщины перламутровой кожи — на родном их, английском, языке... — Через три дня барк ушел к берегам Греции. Через три месяца лорд Байрон умер в гнилой лихорадке. Через девять месяцев Зарэ родила сына, и он, сын, с согласия деда, стал носить имя Бирон-Кадри-Ибн-Суада, или просто — Бирон-паши.

Левантиец замолчал, опустил голову. Мяуки, стоны, визги, пiski, рыки, грохоты наполняли кают-компанию. Капитаны молчали. В кают-компанию пришел вахтенный, сказал, что вновь виден маяк Тэнедоса, — судно мечется по волнам без управления, и сейчас же пришел подвахтенный, тревожно доложил, что с мостика смыло волной в море юнгу, когда он полез заправить красный топовый огонь. Турок-капитан, обросший инеем седины, должно быть, пришел в то состояние, когда надо начинать делать вид, что не страшно, и когда надо рубить мачты: он медленно поднялся, надел кожаный бушлат и кожаную фуражку и, выждав, когда судно по-нужному накренится, с ловкостью мальчишки по ровному полу трапа вышел на дэк, — красная в свете лампы-молнии волна ударила капитана в грудь.

— Вы — русский?! — крикнул левантиец.

— Да, русский, — ответил шкипер.

— В мире законны только беззаконие, насилие, дорожное убийство, ложь и нарушение чести, — да, именно так, милостивый государь мой! — Тогда были роман-

тические революции. Греческая война за независимость кончилась победой инсургентов. Англия стала заводить в Эгейском море свои порядки. — Вы низвели революции до париев, до портовых хамалов, вы, русские! Я еще посчитаюсь с вами, да! — После смерти Магомета Кадри-Ибн-Суад-паши Зарэ унаследовала права его и с ними вместе остров Тэнедос. Ее сын, Бирон-паша, граф Бирон, учился в Стамбуле и стал одним из видных генералов. Он был в Европе, знал языки и женился в тридцать пять лет на графине Алиоти, моей бабке. Мой отец был сыном графа Бирона. Мой дед умер от русских ран и погребен на Тэнедосе. Я родился в том самом замке, куда заходил на своем сумасшедшем барке лорд Байрон, мой прадед, — но я этого уже не помню. Я единственный наследник этого острова!

— Вы? — спросил шкипер.

— Да, я! — ответил левантиец, — я, граф Исидор Бирон. Началась — вы знаете — эта проклятая последняя империалистическая война, — переоценка ценностей, как говорят ваши социалисты. Турция проиграла войну, Турция Гази-паши ушла в Анатолию, чтобы залезть свои раны буржуазной революцией в камнях Малой Азии. Архипелаг грабят англичане, итальянцы, французы, греки. Я потерял понятие, кто украл у меня мой остров, — я не знаю, кому теперь он принадлежит. Я подавал прошения в Лигу наций, Вильсону, Клемансо, английскому и итальянскому королям, французскому и греческому президентам. Ответа я еще не имею, но я добьюсь его. Я выкину на острове мой флаг и учиню новое государство, куда приглашу приехать всех, кто отрицает всяческие общепринятые морали, ибо законно только беззаконие, давшее мне право на этот остров и на жизнь. Я соберу на этом острове то, что по-русски называется сволочью, да! — и около меня будут интересней-

шие мужчины, прекраснейшие женщины и не будет лицемерия и лжи, да! — Вы — русский? — это ваши социалистические штучки лишили меня моего острова, чорт бы вас побрал, — но рано или поздно я получу мои права на Тэнедос!..

В мяуки, вои, рокоты вник звук падающего, ломающегося дерева, треск, визг, — и на пороге появился капитан, ступил в каюту вместе с рокотом дыбящейся волны.

— Отдали морю бизань, — покойно сказал капитан, — идем на Тэнедос, маяк виден. Все на палубу, на авральные работы!

Шкипер — русский эмигрант — глотнул поспешно последнюю каплю кофе, поправил сапоги, стал одеваться, тоскливо выругался, — чорт знает, что такое, когда же, наконец, будет покой, то под пулей дохни, то на воде! — но выругался он по-русски, и его никто не понял. На палубе был сумасшедший мрак, волны перекатывали через палубу, люди повисали в волнах, держась за тросы. Во мраке люди, потерявшие уже покойствие, матросы, одни рубили мачты, другие разламывали фальшборты, третьи откачивали из трюмов воду. Красный топовый огонь погасило водой. На мостике выла в громы моря сирена. Маяк Тэнедоса то-и-дело проваливался в море. Снег перестал идти, и море путалось в свисте, тумане и мраке. Исидор Бирон стоял у трапа на капитанский мостик, волны били его справа и слева, мимо него бежали люди. Быть может, Бирон заметил, что шкипер, — русский эмигрант, — который сначала ходил покойно и медленно, отдавая сонным голосом приказания, стал затем сам помогать матросам, стал поспешнее и поворотливее, стал очень поспешен, — затем он кричал бестолковое вместе со всеми, он ударил матроса по лицу, и матроз ударил его, оба они не заметили этого. Все бе-

жали теперь по судну, в отчаянном ужасе, как кошки, когда кошки мечутся по крыше горящего дома. Шкипер много раз пробегал мимо Бирона, — шкипер наткнулся на Бирона. Бирон стоял в одном пиджаке. Шкипер судорожно и сильнее уцепился за грудь Бирона, затряс Бирона, как осинку.

— Ты, лорд Байрон, сволочь, — что ты стоишь, иди, качай воду, качай воду, сволочь! — качайте воду, господин потомок великих прохвостов, — я потом приеду к вам в ваше государство!

Шкипер потащил во мрак Бирона. Бирон, задыхаясь от судорожных пальцев шкипера, хромая, падая, полз за ним. У насоса безумствовали три матроса. Левантиец Исидор Бирон стал в пару и забезумствовал над захлебывающимся, сопящим насосом, окатываемый волнами, точно волны хотели справа и слева надавать Бирону пощечин.

.....
Наутро судно пришло в тэнедосскую гавань. Во время войны 1914 года здесь была турецкая крепость, а в замке Магомета Кадри-Ибн-Суада были казармы. И замок и крепость были уничтожены артиллерией англичан. В дни греко-турецкой войны 1920 года на острове сначала было уничтожено все турецкое население, а затем все греческое. Остров стоял в развалинах. В гавани в мраморных развалинах, оставшихся еще от эллинов и от римских когорт, квартировавших здесь, возникла новая жизнь, пять-шесть рыбацких семей. Население было турецким, и на почетнейшем месте стояла кофейня. Для турок, конечно, было и невдомек, что этот день, 25 декабря, есть праздник для всего христианского мира. Было совершенно буднично. Старики-турки, не пошедшие в бурю рыбачить, сидели в кофейной. Капитан, шкипер и Бирон прошли в кофейню. Капитан-турок

в сторонке от навеса кофейни разостлал свой коврик и молился Аллаху, творил намаз. Бирон попросил раки и аккуратно раскладывал по столу, чтобы расклеить и просушить смоченные лиры. Капитан-турок творил намаз и горько плакал. — Русский лег на землю спать. —

К кофейне эти трое шли узкой каменной улочкой, ныне разграбленной и пустой, где мраморное шоссе выложено было римскими легионерами, — они прошли мимо громады развалин ворот замка, где некогда стучался лорд Джордж-Ноэль-Гордон Байрон.

Ямское Поле,
6 декабря 1927.

СИНЕЕ МОРЕ

I

Ноября 1854 года, в дни Восточной войны, на Черном море у берегов Балаклавы погибло английское военное судно «Черный Принц». Человечеством ведутся регистры всех кораблей, когда-либо ходивших по морям Земного Шара. «Черный Принц» был английским военным транспортом, первым в английском флоте железным судном, двух-с-половиною-тысячетонным, четырехкотловым пароходом, оснащенным также и парусным вооружением. Судно пришло к берегам Крыма 12 ноября 1854 года. Балаклавская бухта была занята флотом соединенных эскадр, враждовавших с Россией и штурмовавших Севастополь. 12 ноября «Черный Принц» отдал якоря и погасил котлы на внешнем балаклавском рейде. Судно принесло из Англии четыре миллиона фунтов стерлингов — сорок миллионов русских рублей — золотом — для задачи жалования английским солдатам; английская королева Виктория, та самая англичанка, которая «гадила» России, присылала на «Черном Принце» бриллиантовую шпагу — английскому командующему.

В полдень 14 ноября над Черным морем прошел жесточайший шторм, такой, память о котором до сих пор сохранена у балаклавских рыбаков, ибо брызги волн ударялись тогда о генуэзские башни, стоящие над морем, в отвесе, примерно, на полверсты. Человечество запомнило этот

шторм гибелью тридцати двух кораблей соединенных эскадр, разбившихся около Балаклавы, среди которых погиб и «Черный Принц».

Русский историограф Восточной войны, генерал-лейтенант Богданович описывал этот шторм и гибель кораблей — следующим образом:

«...Напрасно французские и английские суда побросали в море свои якоря; расвирепевшие волны разрывали цепи и сносили якоря; корабли, сделавшись игралищем бури, сталкивались между собою, разбивались и исчезали в морской бездне. Нельзя было оставаться на палубе, не уцепившись за какую-либо из снастей».

О гибели «Черного Принца» ничего неизвестно — или очень немногое. Шторм понес судно на берег. Котлы были погашены. Крейсировать, маневрировать парусами, вернуться — возможности не было. Якоря не держали. Капитан отдал приказ рубить мачты, чтобы облегчить якоря. Мачты стали падать в воду. Произошло катастрофическое: бизань упала в воду под ветер раньше, чем перерубили троссы, — мачту занесло под ахтерштевень, троссы замотались вокруг руля. Судно стало неуправляемым, гибель пришла на судно. Капитан отдал тогда последний приказ — спасаться всем, кто может. Из 255 человек экипажа спасся только один, который и рассказал о последних часах «Черного Принца».

Больше никто ничего о «Черном Принце» не знал. Ночь пронеистовствовала бурей. Наутро тогда, 15 ноября, море голубело безмолвием, под синим небом, в золотом солнце. На «Черном Принце», вместе с 254 человеками, погибло золото и бриллиантовая шпага Виктории. Место гибели судна человечеством было потеряно, и человечеству осталась легенда о золотом кладе «Черного Принца», о золоте,

которое можно найти и поднять, — жестокая легенда, ибо золото — богатство — обогащение — есть одна из жесточайших, ужаснейших сил,двигающих человечеством.

На Малаховом кургане, на Корабельной линии — в дни Севастопольской кампании — часовыми ставили чучела солдат и мертвецов, — было сожжено полмиллиона пудов пороха, два миллиона артиллерийских снарядов и сорок пять миллионов ружейных патронов. Это забыто.

Не забыто — золото «Черного Принца»: англичане, французы, итальянцы, русские, греки — искали его богатства и ничего не находили, потому что даже место гибели не было найдено, затерявшись в водных стихиях.

II

Как много сини и солнца в мире! — декаблями, зимами, ночами я очень часто думаю о тех странах, которые названы полуденными, которые залиты солнцем и синью. Я помню Кара-море, Мармару, Эгейю, море около Цусимы и Великий океан вокруг Японии, — я помню земли около этих морей, — и всегда, вспоминая, я вижу, я ощущаю — солнце и синь, необыкновенные солнце и синь, синь неба, синь моря, синь пространства, — чудеснейшее в мире.

И однажды в Москве, на Поварской, мой друг, японский литератор Курода Оттокичи, мне сказал, что он завтра на сутки едет в Крым, в Балаклаву, где его соотечественники ищут золото «Черного Принца», рыща по морскому дну.

Я вспомнил золото солнца, чудесность сини, — решил опуститься на морское дно, — и я поехал с Куродой в Крым, на одну ночь. Оказалось, что в международных вагонах русских поездов можно ездить по сюжетам. Я был в Греции на развалинах эллинской культуры, там же я видел памяти генуэзцев. Я знаю турок, братски похожих на крымских татар. Я был в Англии и знаю эту владычицу морей. Я был в Японии — и не представлял

себе японцев в Балаклаве, которая до рождества Христова, при эллинах, называлась Символоном, при гетуэцах — Чембало, и лишь при турках стала — в пятнадцатом веке — Балаклавой, где по сие число остались развалины гетуэзской крепости и эллинские мраморные тропинки. Я хотел скрестить в себе место, где скрещивались греки, гетуэзцы, турки, англичане, японцы.

Международный вагон покояствовал тишиною, ночью от Москвы до Курска и бесконечным днем отдыха от Курска до Александровска. Курода-сан весь день был в кимоно.

III

В России некое учреждение имело талант видеть не только в пространствах и вперед, но и на многие сажени, а не на три аршина, под землю и под воду. Учреждение это — ОГПУ. ОГПУ, кроме всего прочего, имело и хозяйственные организации, — например, ЭПРОН, организацию, которая вылавливала со дна морского затонувшие суда. ЭПРОН имел водолазную школу, которая по морским традициям называлась не школой, а партией. Водолазной партией заведывал доктор К. А. Павловский. Водолазы Чумак, Галямин и Федотов — нашли на морском дне остатки «Черного Принца». Честь нахождения «Черного Принца», этой легенды о золоте, принадлежит доктору Павловскому, — права принадлежали ЭПРОНу. Было твердое предположение, что «Черный Принц» затонул на очень больших глубинах и поэтому нет возможности его отыскать. Водолазная партия, где обучались молодые водолазы, работала на малых глубинах.

Вот записи вахтенного Водолазного журнала, в дни работ партии, когда найден был «Черный Принц».

«17 ноября (1925). — В 6.50 спустили водолаза Чумака для осмотра второй половины квадрата

III₃. Грунт — камни. Видимость хорошая. Глубина 5—6 сажений. Осмотрел весь квадрат, предметов в квадрате никаких не видел. Из квадрата III₃ заметил в квадрате III₂ какой-то большой предмет и подошел к нему. Подойдя, обнаружил, что он железный и похож на паровой котел. В 9.20 подняли водолаза наверх. В 9.30 спустили водолаза Галямина для тщательного осмотра виденного Чумаком предмета. Водолаз Галямин осмотрел предмет и подтвердил, что это судовый котел. Несколько вправо и мористее обнаружен второй такой же котел, но несколько больше побитый. Пройдя дальше, несколько вправо и мористей, нашел 3-й котел, но совершенно разбитый, и недалеко от третьего — 4-й котел, тоже разбитый. Около 4-го котла обнаружил дымовую трубу и 2 полосы корчатого железа. Подал на баркас 2 обломка дымогарных трубок и кусок железа (повидимому, кусок палубы)».

«19 ноября. — Водолаз Чумак видел на грунте большие куски железа, трубу, паровой котел и 2 бита. Под камнем обнаружил и поднял наверх целый шрапнельный снаряд, разбитый такой же снаряд, медицинскую трубку (с надписью, на английском языке, города и фирмы), глиняную банку, медный оборок с какого-то люка. Водолаз Федотов Гаврил поднял наверх старинную ручную гранату и трубку от котла».

«10 декабря. — ...на грунте видел часть борта судна со шпангоутами и с 3 иллюминаторами...»

«14 декабря. — ...водолазы на грунте видели много железа... Водолаз Воронков видел торчащий кусок свинцовой трубы из-под камня. Старался и водолаз, и лебедкой вырвать его не удалось... Необ-

ходимо некоторые камни поднять, и тогда уже будет возможно многие предметы поднять наверх. Интересно было бы для опыта взорвать один камень и посмотреть, что находится под ним».

В дни между 17 ноября и 14 декабря были записи, кроме выписанных, следующие:

«20 ноября. — В 3.40 из Шайтан-Дере подул порывистый ветер. Подняли водолаза наверх и ушли в Балаклаву».

«26 ноября. — В море IW довольно сильный, мертвая зыбь. Спустили Федотова Степана. Ветер усилился. Зыбь увеличилась. Водолаза начало качать. Подняли его и ушли в Балаклаву».

«1, 2, 3—8 декабря. — В море шторм. Не работали».

Ни разу, когда фактически найден был «Черный Принц», не поминалось в Водолазном журнале имя «Черного Принца», потому что никто не мог предположить, что судно затонуло в ста саженях от берега, на глубине шести саженей, на такой глубине, которая в штильные дни видна простым глазом. Партия не подозревала, что она нашла «Черного Принца», можно сказать, на проезжей дороге, как раз под скалою, где на вершине стояли развалины генуэзской башни Дон. Партия недоумевала, какое судно найдено ею и почему это судно завалено каменными громадами.

Зимой копия Водолазного журнала пошла в Москву, в правление ЭПРОНа. Все суда, когда-либо ходившие на морях, записаны человечеством, зарегистрированы, ибо суда, как люди, имеют паспорта. Все смерти судов записаны так же, как записаны их имена, тоннаж, осадочность, паровая сила, парусное вооружение. И в Москве уже, когда просматривался Водолазный журнал, наткнулись

на факт, что человечеству неизвестна ни одна гибель железного судна около Балаклавы, кроме гибели «Черного Принца». В английских регистрах есть точная опись и чертежи «Черного Принца»: сверили чертежи и техническое описание с найденным на балаклавском дне, котлы, их размеры, тэковое дерево, скулу. «Черный Принц» был найден. Было найдено то, что осталось от «Черного Принца».

Партия установила, что остатки корабля завалены громадными каменными глыбами. Доктор Павловский докладывал:

«Камни эти необходимо поднять и отбросить в сторону. Взрывать же нерационально, так как большие камни, разорванные на мелкие, еще больше засыпали бы обнаруженные части. Дальнейшие поиски без уборки камней не дадут ничего».

IV

Концессия по подъему золота «Черного Принца» была сдана ЭПРОНОм японскому водолазу Катаока-сан. Катаока довершил картину гибели «Черного Принца», разъясняющую, почему «Черный Принц» так долго не был найден и как он погиб. Картина гибели была вычерчена чертежами и записана математическими формулами. «Черный Принц», потеряв управляемость, став «игралитцем бури», как определил генерал-лейтенант Богданович, был нанесен на береговую скалу правым бортом, скалою и волнами был разбит в щепы и тут же затонул, — в ста саженях от берега. И в эту же ночь, когда волны закидывали себя на триста саженей вверх, к башне Дон, был обвал, скалы упали в море и задавили «Черного Принца», сокрыв его от человеческого глаза. Страшна, должно быть, была та ночь, ноябрьские мрак и ливни, ураган и буря, когда суда бросались на скалы и скалы

валились на суда, уничтожая человеческое железо и людей, которые двигали железом.

Мы приехали в Балаклаву в те дни, когда 25 японцев каждодневно лазили на морское дно и перетаскивали с места на место каменные громады в полторы тысячи пудов, чтобы очистить грунт, где лежал «Черный Принц», и добраться до его развалин. Катаока-сан, начальник экспедиции, бывший японский морской капитан, ныне был человеком с мировым именем: до «Черного Принца» он поднял золото с японского парохода «Ясака-мару», затонувшего в 1915 году на глубине 200 метров в Средиземном море от немецкой подводной лодки. «Ясака-мару» вез золото и затонул в открытом море, астрономическая точка его гибели была неизвестна. Англичане, французы, итальянцы — отказались от возможности найти «Ясака-мару» ввиду] глубины и неизвестности места гибели. Катаока высчитал место гибели математическими формулами и изобрел новый водолазный аппарат, основанный — опять-таки — на математике и на изучении физиологии крови. Катаока поднял со дна Средиземного моря, из глубины двухсот метров — три миллиона рублей и мировое водолазное имя.

V

Весь путь мы не выходили из нашего купэ. Курода-сан был в кимоно, от его вещей в купэ запахло Японией. В промежутки меж разговорами о «Черном Принце» и наших японских памятей я читал «Историю генуэзских поселений в Крыму», составленную Николаем Мурзакевичем, изданную в 1827 году в Одессе, и академическое «Прошлое Тавриды». Курода-сан, мой друг, сидел против меня, по-японски с ногами на диване, курил, улыбался и писал статью о Мурмане, где был за неделю до нашей поездки на юг. С каждым часомезда к югу в вагоне

становилось душней и душней, выростало солнце и голубело в нашем купэ. Вырастали полуденные страны и выростала — Япония. Вечером Курода-сан рассказывал японское свое детство. Ночью я смотрел, как Курода спит, в кимоно, на спине, крест-накрест сложив ноги, как не заснул бы ни один европеец, — и думал о том, как различны антропологии культур Востока и Запада, до манеры спать.

Инкерманские монастыри нас разбудили солнцем. В вагоне был праздник. Солнце умывало землю прозрачнейшим своим светом. Крылом птицы махнуло вдали море. Курода-сан и я, мы надели белые костюмы и тропические шлямы, ради праздника. Поезд отмелькал каменноугольным удушьем тоннелей, вновь и вновь умывался светом и солнцем — и пришел в прохладу белых камней сева-стопольского вокзала. Тени света на вокзале были зелены. Зубы татар в солнце голубели. Греки были лиловые. Россия — от Тавриды, Казырии, Крыма — была отделена ночью. Около буфета на перроне, под пальмами, стоял японец, переводчик, который выехал нас встретить. Он махал нам своим канотье. Мы поменялись визитными карточками. Широкогрудый автомобиль рывкнул, дернул, запылил, понес. Тополи, кусок моря, арба, улыбка нашего спутника, остановка на минуту у медленной аштеки и на телеграфе. — Экспедиция приступила к основным работам. Вчера подняли медную монету королевы Виктории со штампом 1854 года. Катаока сейчас в море. Завтрак и ванна нам готовы. Катаока проведет с нами вечер. Очень многие русские плоды и рыба хорошо идут в японскую кухню. Нельзя достать рису. Рис телеграфом выписали из Москвы. —

Балаклава — Символон, Чембало — похожа на норвежский фьорд, громадные скалы повисли над морем и над бухтой. На вершине скал — развалины генуэзской

крепости. Вода в бухте совершенно синя. Тополи запылили дорогу. Домишки прилепились гнездами, набережной не меньше двух тысяч лет.

Нам отвели комнату в гостинице «Россия», рядом с концессионным японским домом. И мы погрузились в Японию. Японец-прислужник принес нам чаю и повел нас в ванну, сделанную за кухней, в японскую бочку, где вода почти кипит. Дом был пуст, пахло морем и тушью. Канцелярист передал мне свою визитную карточку. В коридоре распялены, ногами вверх, водолазные костюмы, — скафандры похожи на уэлсовских марсиан. В ванной нам дали японские полотенца, которыми надо одновременно и мыться, и утираться. В столовой нас ждал завтрак — соленая слива, зеленый чай, рыба в сое, рис. Палочками вместо ножа и вилки, вкусовыми памятьми я был погружен в Японию. Мы закурили сигареты «верджиния». Нас ждал мотор-бот, чтобы снести в море на работы. Праздник утра продолжался набережной: по набережной ходили мужчины и женщины, северяне, приехавшие к солнцу, в варварских купальных костюмах, безобразящих и так не очень красивых северных эллинов. Бот заколыхался в сини бухты, понес к взморью, в сини воды, в сини неба, зафыкфыкал. Японец-рулевой повязал голову полотенцем. Его национальный рабочий костюм обнажал ноги и руки логически и красиво, совсем не так, как у московских эллинов и эллинок.

В синем море, под синью неба, под башнею Дон, под отвесной скалой в поле воды, отгороженном флажками на буйках, стояла маленькая водолазная эскадра — паровая шаланда с кранами, мотор-бот, два водолазных баркаса, шлюпки.

На шаланде навстречу нам пошел Катаока-сан, невысокий человек, с лицом коричневым, как жженный кофе, миллионер и человек мирового имени, в европейской

рабочей блузе, запачканной машинным маслом, в белых перчатках, как, к слову сказать, и остальные японцы на палубе, рабочие и инженеры. Он улыбнулся прекраснейшими зубами, помахал панамой, пожал наши руки, познакомил с японцами и русским доктором Павловским, тем, который нашел «Черного Принца».

В тот час, когда пришли мы, на морском дне динамитом рвали скалы.

После приветствий я сказал, что я был бы счастлив в скафандре опуститься на морское дно. Катаока-сан — просил, если разрешит доктор Павловский, то есть если разрешит мое здоровье.

Мы отошли в сторону, чтобы наблюдать и не мешать.

Водолазы опускались в воду, пуская пузыри отработанного воздуха, похожие на огромных — нето жуков, нето жуковых личинок. На морском дне водолазы подкладывали под скалы динамит, фугасы и всплывали вверх. Лодки расплывались веером. Минер включал ток. Вода вскрикивала и вздрагивала. Лодки сплывались. Навверх всплывали убитые рыбешки, японцы ловили их ловко, ногтем большого пальца, отрывали голову, выкидывали внутренности — и ели сырых, еще трепыхавшихся рыбешек, сплевывая в воду их хвосты. Водолаз вновь уходил страшною личинкою под воду, давал сигналы, закреплял троссами полуторатысячепудовые глыбы. Скрипел кран, и шаланда уносила на лебедке эти глыбы на глубины.

Доктор Павловский, в форме русского моряка, в золотой фуражке на затылке и в майке, обнажавшей грудь, предложил поехать купаться. Под скалой, которая крышею стала над нами, меж камней, упавших в море, где вода не синяя уже, а зеленая, проходили мои часы солнца, воды, медленности, часы сини. Я лежал в щели между двух каменных громад, в прохладе крабов. Ноги мои были в зелени воды. Мелкая волка, шумящая галькой,

мыла мне плечи. Была милая медленность праздничности. Константин Алексеевич Павловский на этих камнях выслушал мое сердце, чтобы решить его пригодность для подводных стихий. Синий дым медленности и папирос казался белым в сини зноя и неба.

Так прошел день. В сумерки мы обедали — по-японски — десятком малюсеньких мисочек. В закате мы ходили по скалам. Пришла ночь женских смешков на набережной и в палисадах, громадных звезд, хоровой песни с моря, сторожевых посвистов, густейших запахов и пряного мрака, — полуденная ночь.

VI

Мы пошли к Катаока. Он ждал нас в своем кабинете.

Это была рабочая комната экспедиции. Рядом с американскими черными чемоданами, по существу являющимися переносными гардеробами, лежали незнакомые инструменты. Угол завален существенными мелочами, поднятыми с морского дна. Стены в чертежах и планах. За чертежами стояла походная кровать.

На столе — по-европейски — поданы были японский чай, японские сладости, сделанные из сладких бобов и морских водорослей, и английские сигареты.

Катаока-сан был в вечернем кремовом фланелевом костюме, весь белый, кроме коричневого от солнца лица. Он был медленен и деловит.

Куроода-сан оказался драгоманом.

Я спросил, — много ли шансов не найти золота?

Катаока ответил, что бочки золота, — те сто бочек с золотом, которые были на «Черном Принце», — конечно, разбиты. Дно придется прощупать насосами и пропустить через решета. И, тем не менее, быть может, золота достать не удастся, если золото размыто волнами.

Я спросил, что в таком случае побудило Катаока-сана взять эту концессию?

Катаока улыбнулся, ответил коротко:

— Золото.

— А если его нет? — спросил я.

Катаока ответил твердо. За его работой следит весь водолазный мир — Англия, Америка, Япония, весь Земной Шар. Если он не найдет золота «Черного Принца», он погасит легенду о «Черном Принце». Это ему кажется стоящим денег.

Я тогда собрал мысли, чтобы помолчать. Предо мною сидел человек, художник, который творчеством своею работою. Катаока-сан заговорил без моего вопроса, он просил Куроду передать мне, что он и двадцать четыре его сотрудника, его соотечественники, его водолазная партия, с которой он поднял уже множество больших и малых судов в мире, — все они осознают свою работу первым делом как ответственность перед человечеством и чувствуют это каждую минуту. Мне было понятно, что я сижу — около большого человека. Катаока курил и ел бобовые конфеты, коричневолицый японец. У больших людей должны быть простые жесты. Он показывал медную монету королевы Виктории, изъеденную моллюсками, и на лице у него было очень хорошее, достойное удовольствие.

Он предложил нам пройти в ресторанчик на набережной выпить по стакану пива. Ночь была черна и тепла, про такие ночи сказано, что они бархатны. Я видел жизнь этого водяного мэтра. С рассвета он работал — в кабинете над чертежами математикой и знанием — в море над водными стихиями опытом и мышцами. В далекой, чужой, непонятной стране, как для россиянина чужд и непонятен какой-нибудь японский, хоккайдский уездный порт, — вечерами Катаока читал японские газеты и журналы, при-

ходившие с запозданием на месяц, курил сигареты, ел палочками рис, проходил перед сном вдоль набережной и засыпал в полночь, чтобы работать с утра — работать в таинственных морских стихиях, памятуя, что за ним следит мир, давший ему имя первого на Земном Шаре водолаза.

Я почтительнейше распрощался в тот вечер с Катаокасан.

VII

И наутро тогда я испытал чудесность, единственную в моей жизни, ни с чем не сравнимую: я опускался на морское дно.

Я летал над облаками, потеряв внизу землю, я был в театрах Востока и Запада, я был в океанах, я был в Арктике и под Тропиками, — все это не в счет по сравнению с тем, что дает морское дно.

Для того, чтобы опуститься на морское дно в скафандре, надо иметь здоровыми — сердце, уши и нервы. Сердце должно справиться с кровью, ибо каждая сажень под водой почти на атмосферу меняет давление, кровь проаэцируется и «вскипает» от перемены давления, как вскипают бутылки с нарзаном, когда их откупоривают. Уши должны иметь крепкие барабанные перепонки, чтобы они не лопались в тот момент, когда выбрасывается из скафандра отработанный воздух и сразу меняется воздушное давление. Нервы — человеку дано ходить по земле, — рыба умирает в воздухе, — в небе над землей меня носил пилот, — под водою в скафандре моя жизнь у меня в руках — надо иметь здоровые нервы, чтобы они командовали моей жизнью. Водолазных учеников в школах наряжают в скафандр сначала на берегу, затем спускают на сажень под воду, потом на полторы.

Был золотой день. Мотор-бот понес меня и моих друзей, возникших за сумерки, в частности Веру Инбер, на ра-

боты партии. Московско-балаклавские эллины в купальных костюмах, прослышав, что писатель полезет под воду, разместились на шлюпках вокруг запрещенной зоны. Был чудесный и жарчайший день. Я должен был опускаться на морское дно под наблюдением доктора Павловского, но из рук японцев, которые не могли говорить по-русски так же, как я по-японски.

Японцы заулыбались и заприветствовали. Доктор Павловский перебрал формулы — сердце, уши, нервы, — сигналы — хорошо, плохо, несите обратно. И я потерял волю. Коричневые в солнце японцы, у которых, как у татар на вокзале, синели от солнца в улыбках зубы, посадили меня на скамеечку, стали раздевать, один расшнуровывал ботинки, другой развязывал галстук. Мое нижнее белье мне оставили. Стыда обнаженности я не чувствовал в этом безволии. Надели на меня шерстяную фуфайку толщиной в палец, такие же носки и кальсоны. Я сразу почувствовал себя в тропиках и зашутил. Японец, своим полотенцем, сняв его с головы, обтер мой пот. Меня всунули в резиновый мешок, положив предварительно мешок и меня на палубу и упираясь ногами мне в плечи, чтобы я влезал. Стало шанхайски-удушливо. На ноги мне одели водолазные туфли, свинцово-медные, каждая по пуду весом. И еще насунули на меня брезентовое туловище. Тогда посадили меня около борта. Так же, примерно, как на автомобильный обод натягивают шины, стали натягивать на медный хомут весом пуда в полтора, положенный мне на плечи, края резинового мешка, в который я был всунут, и привинчивали резину к хомуту гайками. К хомуту, на грудь мне и на спину, привесили два грузила, каждый фунтов по тридцать. Гири связали шкертками у меня подмышками, чтобы они не болтались. Бедра мои связали сигнальной веревкою, сигнальным «концом» и стягивали ее, как стягивают супони у хомутов,

упираясь в мои бедра ногами. На мне было навешено уже пудов пять. Под-руки поддерживая меня, поставили меня на трап, по пояс в воду. Мне было жарко и весело. Последний раз доктор Павловский сказал — сердце, уши, нервы — хорошо, плохо, несите обратно. Сигнальная веревка была у меня в руках. Вера Инбер смотрела на меня со шлюпки соболезнующе, Курода улыбался как солнце. Павловский поднес к моей голове марсиано-образный череп скафандра, последние полтора пуда моих тяжестей, показал клапан, который надо нажимать головой, местом между затылком и правым ухом, чтобы отпустить отработанный воздух. Доктор снял с меня очки. Скафандр привинчивают к хомуту, как герметическую пробку. Скафандр привинтили.

Я оторван от мира. Голова зашумела воздухом, который нагнетался с баркаса насосом. Павловский махнул мне рукою.

Я оттолкнулся от трапа, чтобы погрузиться в самого себя, в свои ощущения и — в воду. Зеленая вода сошлась над скафандром, плеснувшись. Красное дно шлюпки, где были Курода и Инбер, стало подниматься. Махающие руки на шлюпках стали терять свои формы, растягиваясь невозможностями и невозможно сплющиваясь. Деревянное дно шлюпки колыхалось, змеилось, точно оно ожило. Затем шлюпка растворилась в сини, исчезла. Вокруг была синяя, необыкновенная стихия. Я поймал глазами солнце: оно шло ко мне двумя путями — острейшими стрелами и блиноподобными рожами. Я нажимал на клапан, тогда булькал уходящий воздух, звенело от пустоты в ушах и немело сердце. Насос гнал новый воздух, и сердце тяжелой артиллерией било по густеющей крови. И вот, в сине-зеленой мути я увидел мрачные камни морского дна. Маленькая рыбка подплыла к иллюминатору скафандра, я хотел схватить ее рукою, — она покойнейше

отплыла в сторону и опять двинулась ко мне. Я поразился своей руке: она двигалась необыкновенно, она удалялась и приближалась ко мне зигзагообразными линиями, точно она была гармошкой, как гармошка растягиваясь и сжимаюсь. Я опускался на дно головою вниз, я заметил это, когда увидел камни дна. Я двинул головой и плечами, — и понял, что те пуды, которые нацеплены на меня, не имеют веса. Я был невесом. Рядом со мною, вдвое выше меня, была скала, заросшая ракушками и водорослями. Солнце шло стрелами и блинами. Все было мутно-сине, зелено-сине, лунно. Глаза упирались в синий мрак. Морское дно казалось огромной чашей, края которой поднимаются и уходят в невидимости лунного мрака. Это было нечто, совершенно не похожее на человеческую землю и не измеряемое человеческими правилами. Я хотел тронуть скалу, которая была рядом, — рука не дотянулась, — я шагнул к ней, — скала отодвинулась. Под ногами были камни в половину моего роста, я шагал циклопическими шагами. Я подошел к скале. Я дотронулся до нее, потянулся к камню, который был над головой, — и ноги мои отделились от грунта. Большая рыба выплыла из-под скалы, прошла мимо меня. Невесомый, я поднялся на скалу легким прикосновением рук к камням. Я шагнул со скалы и я оказался около разбитой корабельной скулы. Иллюминаторы смотрели зловеще, трехглазый зверь двигался сломанными лучами солнца в твердейшей сини воды. Шпангоуты были завалены камнями. — Вот он, «Черный Принц», человеческая легенда о золоте! — Рыба выплыла из мертвого иллюминатора. Мое сердце захлебывалось кровью, уши готовы были лопнуть: я забыл отпустить отработанный воздух. Я открыл клапан: ноги, сердце и голова опустились в бессилии. — Вот он, «Черный Принц», легенда и страшная гибель, морское дно и смерть! — Сверху спрашивали, сигналили — «хорошо

ли?» — я жалел, что у меня нет сигнала — «невероятно!» — Рыбы приняли меня в свое общество, безразлично плавали вокруг меня. Никогда, нигде я не видел такого, ибо здесь, на морском дне, у водных стихий совершенно свои законы физики, видимости, плотности, которых нет на земле, свои законы дыхания и жизни. Солнце шло зелеными стрелами. Мертвый «Черный Принц» — двигался смертью. Кругом была невероятная, лунная синь.

Все чаще и чаще спрашивали сверху — «хорошо ли?» Я перепутал сигналы.

Вдруг, медленно, я пополз вверх, помимо своей воли, и повис в каких-то саженях над «Черным Принцем». Эта минута висения была вечностью. Еще на сажень подняли меня, исчезло дно, не было земли, была ослепительная синь, только синь, больше ничего. И сердце булькало, в борении с кровью, готовой закипеть. — Для того, чтобы не вскипела кровь от быстрой перемены давления, водолазов вытаскивают с морских доней очень медленно, поднимают на сажень и держат минуту-другую: я был водолазом, эти минуты висения были вечностями. — Я увидел донья лодок, — земля, человеческая жизнь! — тринадцатилетним мальчишкой я замотал ногами и руками, забрыкался, в неистовом удовольствии, приветствуя землю и людей, повисших над шлюпками.

Доктор Павловский хотел выслушать мое сердце: я махнул на сердце рукою! Я радостнейше выползал из гирь и резин, надевал в гордости штаны и завязывал галстух, грелся солнцем, шлепал по плечам японцев, «юриси-гоза-имасил», то есть объяснял, что очень хорошо!

Вечером, отобедав последний раз, последний раз в жизни — по-японски — в Балаклаве, — мы поехали на вокзал, чтобы вернуться в Москву. Я злоехидничал, почему Курода-сан вместе со мною не лазил на морское

дно? — он отшучивался и поглядывал хитро. Он рассказал, что рабочие-японцы после нашего отъезда посыпали солью шаланду и шлюпки — по японскому поверью, чтобы очистить шаланду и шлюпки от женской нечисти, потому что на шаланду и шлюпки влезала Вера Инбер. От полуденного Крыма мы ехали к сентябрю Москвы.

Наутро, на Украине, я проснулся совершенно разбитым человеком: на плечах, куда приходился водолазный хомут, на затылке, в том месте, которым я давил на клапан, вздулись шишки и синяки, ноги отказывались действовать.

VIII

Прошли месяцы и пройдут еще годы. — Когда много сини и солнца в мире! — декаблями, зимами, ночами я часто вспоминаю и буду вспоминать те необыкновенные минуты, которые я провел на морском дне. Чем больше уходит дней, тем чудеснее кажутся мне эти минуты. Это закон, что чудесность, когда она переживается, не кажется чудесностью. Я подробно записал все, что было со мною на морском дне; сейчас мне это кажется иным, непередаваемым, величественным, — фантазия рисует невероятности. И, думая, особенно ночами, о морском дне, я впадаю в странное ощущение странной сини, синь пронизывает меня, все становится чудесным, мне чудесно.

Японцы не нашли золота «Черного Принца».

Японцы нашли «Черного Принца» и погасили его легенду.

Золото с «Черного Принца» подняли — англичане, тогда же, вскоре после гибели судна, в течение тех шести месяцев, которые они провели в Балаклаве после 14 ноября. Англичане подняли не только золото и бриллиантовую шпагу королевы Виктории, но содрали даже все медные части. Японцы нашли под камнями консерв англий-

ского водолаза, человека, герметически закупоренного в водолазном костюме. Водолаз погиб на морском дне. Англичане не озаботились его поднять. Его подняли японцы. В кармане водолаза была тетрадь дневника от 1854 года. Водолаз поднимал золото «Черного Принца». Все ясно. Властители морей и мировые купцы — англичане — они умеют хранить тайны и они — национальная английская гордость! — великие шутники: англичане пошутили легендой о «Черном Принце». Легенду потушили — японцы. Историограф Восточной войны, генерал-лейтенант Богданович, в III томе своего труда написал:

«Хотя с нашей стороны и не было сделано ничего, чтобы воспользоваться бедственным положением союзников, однакоже буря 2 (14) ноября имела весьма невыгодные для них последствия. Cholera и другие болезни развивались с ужасающею быстротою и усилили смертность в английском лагере».

Англичане занимались не только холерою.

Генуэзская башня Дон — попрежнему стоит над Балаклавою. Балаклава при генуэзцах называлась — Чембало. В одесской книге от 1827 года, то есть от дней до Восточной кампании, написано о Чембало:

«...меняли изделия и товары Европейские на меха Русские, Азиатский шелк и пряности Индостана. Караваны с товарами Китая, Тибета, Индии, Туркестана через Астрахань и Тану достигали благополучно. Китай доставлял свой фарфор; Индия — алмазы, пряные корни; Бенгал — опиум: Малабар — шафран, сандаловое дерево; Цейлон — перлы и корицу; Тибет — мускус; Ефиопия морем доставляла слоновую кость; Аравия — мирру и ладан. Генуэзцы же взамен роскошных произведений Азии

и Африки отпускали: сукна разного рода, в особенности пурпурного и красного цвета; поясы, ожерелья, запястья, кольца и другие женские украшения, также леопардовые кожи. Драгоценные металлы Генуэзцы получили на значительные суммы от Татар, приобретающих оные в России»...

Чембало переименовано турками в Балаклаву, в 1383 году Кедук-Ахмет-паша, турецкий генерал, завоеватель Крыма, взял Чембало хитростью: генуэзцам изменили армяне и генуэзский же — советник Скварчафико. Летописец записал:

«На девятый день победитель дал пиршество, на которое пригласил и Армян, участвовавших в сдаче ему города, и советника Скварчафико. После пира все получили достойную казнь за измену: при выходе каждого сводили по узкой лестнице за крепость к морю, там умерщвляли и бросали в волны».

Название — черное море — есть точный перевод с турецкого кара: но кара имеет два смысла — черное и злое; турки слово кара применяют к теперешнему Черному морю в смысле злое; русский перевод с турецкого сделан неправильно.

...При греках же, при эллинах, во времена Тавриды и Геродота, Чембало называлось — Символоном. У Геродота записано:

«...далее к востоку лежит бухта с узким входом, которая называется гаванью Символов».

Балаклава — гавань символов! — чудесно жить в этом синем мире!

Ямское Поле,
10 февраля 1928 г.

МАЛЬЧИК ИЗ ТРАЛЛ

Поэма П. А. Павленко.

...Солнце и ветер...

В Стамбуле, на холме Гюль-Ханэ, в переулке за площадью Янычаров, между церковью св. Ирины и Старым Султанским — Топ-Капу — Сераем поместился Музей древностей. В тишине зала эллинистической эпохи стоит там статуя Пастушка из Тралл, высеченная из мрамора ваятелем древности Мироном: в тишине зала эллинистической эпохи стоит кудрявый мальчик, гордо поднявший голову на худенькой шее, — на плечах у него плащ из овечьей шерсти, он бос. И мне тогда показали фотографию, чтобы поразить меня: фотография сделана хранителем Музея, в Траллах, — в 1918 году, — на фотографии стоит тот самый пастушок, которого высек из мрамора ваятель Мирон полторы тысячи лет тому назад, так же поднята его голова, те же кудри, лоб, нос, шея и плечи, тот же плащ из овечьей шерсти. Если бы у пастушка, зафотографированного в 1918 году, не было в руках суковатой палки, надо было бы решить, что эта фотография есть фотография статуи Мирона. — В развалинах, в пустыне Малой Азии, в неприкосновенности сохранился эллинский тип, — в пустыне Малой Азии — сохранился быт Эллады.

И вот, мы едем в Траллы.

Солнце и ветер.

Ноябрь, и поэтому прохладно, как в России около второго, яблонового Спаса. На горизонте кэстэне-дагские горы. Небо синее. Кругом вот уже второй день конного пути — желтые холмы, камень, придорожная пыль, безжизненность, безмолвие пустыни. У старых колодцев лужи воды и помет верблюдов. Дорога, оставшаяся, быть может, от греков, быть может, от римских когорт, — пуста. Старые греческие города, брошенные тысячу лет тому назад, развалены, — турки поселились рядом с развалинами, и над турецкими поселками торчат пыльные тополи, там живут турки и румы, турки-христиане. Изредка в небе пролетит орел. Изредка на межах стоят разбитые статуи и мраморные плиты, исчертанные письменами, — вместо межевых столбов. Поля уже убраны. Арбы с возами соломы — реже верблюжьих караванов. Эти арбы и турки на них — суть герои рассказов турецкого писателя Рафик-Халида.

Вчера ночью, на ночовке около колодца, ишак, испугавшись моего выстрела в шакала, бросился на наш скарб и разбил копытом старенькое стремя у моего седла. Я еду, страдая в седле, потому что не могу стоять на обеих ногах. И у каждой встречной арбы мы спрашиваем, где бы достать стремя. Турки отвечают молчанием. И мы молчим в солнце и ветре.

И новую ночь мы ночуем у колодца, прикрывшись плащами из овечьей шерсти. Шакалы не мешали нам этой ночью: здесь нет людей, и шакалы ушли отсюда.

Наутро опять солнце и ветер. Мы сворачиваем с большой дороги в пустыню выжженного камня, холмистого плоскогорья, навстречу Кэстэне-Даг, горному хребту на горизонте: там, впереди, в котловине под горами — пустыня Тралл.

И мы приезжаем туда к полдню. — Где здесь Траллы? — Котловина меж гор безмолвна в камнях, разбросанных по холмам, в остатках человеческого жилья. Мы въезжаем в пустую улицу, в совершенно пустую. Ноябрьские полдни не несут ни звука. Я захожу в дом, дверь не заперта. У порога лукошко с углем. Муха прожужжала мне на встречу и замерла. На глиняном полу здесь козий помет, приступка у порога иссечена письменами. — Люди, все до одного человека, покинули эти места в 1921 году, когда турки выгнали из Анатолии греков.

...Ужели такова была Эллада и две тысячи лет тому назад, и тысячу пятьсот лет тому назад? — Пыльный поезд Аданской — немецкой! — железной дороги мы сменили на два с половиной дня седла. — Здесь, должно быть, даже умерла весть о человеке! — Это Малая Азия, Анатолия, съеденная козами. Ужели здесь были веселые греческие колонии, здесь прошли эпохи цветений эллинистических веков? — Да, были, — прошли, загорожены от нас тысячелетием. — Некогда Эфес был первым городом банков, породив все банки мира, — Пергам тогда был городом ученых и великой библиотеки, — Магнезия осталась для истории городом актеров, драматургов и философов, — Траллы, как Тэо, были городом шума, поэтов, художников, музыкантов, театральных действий и дионисийских жриц. В Тэо до сих пор видны на стенах развалин стихи Анакреона, вычертанные, по преданию, самим Анакреоном. Траллы, город великих театральных действий, имел множество названий — Антэа, Эвантэа, Ларисса, Антиохия. Сельджуки называли Траллы — Гюзэл-Хиссаром — что значит: прекрасный замок.

Ужели такова была Эллада, вот эти развалины? — Впрочем, нет, конечно. — Великий Театральный Мастер — история — перепетимировал Эвантэю в пески. Это не шутка, что козы съели Малую Азию. Цветущая страна

веселой торговли, поэтов, философов, дионисийской морали — погибла не от войн и нашествий — ассирийцев, персов, римлян, турок, — но, главным образом, от коз, которые столетиями съедали побеги деревьев, уничтожали — уничтожили — леса и рощи, высушили долины и реки, — и превратили зеленую Анатолию в безводные пески и камень. — Траллам выпало до наших дней сохраниться в том виде, в каком эти места остались от разорений древности, историки сказали, что там жива Эллада. Но Театральный Мастер должен работать свою работу: и Траллы покинуты греками, теперь навсегда, в 1921 году, в дни греко-турецкой войны, когда турки русской тяжелой артиллерией над Смирной скинули греков в Средиземное море, заставив их бежать, бросив дома и жизнь.

...Вот она, Эвантэа, веселая страна поэтов и музыкантов! — на столе в пустом доме я нашел краюху иссохшего хлеба, а в другом доме — в светильнике еще не высохло масло. — Вот она, Антэа, страна великих театральных действий, — мертвая Эллада, мертвая потому, что ничто новое не пришло в быт греков, живших здесь, за последние полторы тысячи лет, — а турки не собрались еще с двадцать первого года разграбить эти места.

С горы к нам ехал на муле человек, он махал рукою. Мы поехали к нему навстречу, глиняной улицей. На перекрестке стояла разбитая статуя Афродиты, в шерсти буйволов, которые чесались об нее. Человек, подъехавший к нам на муле, был стариком в белом плаще и в сандалиях. Мул его не был оседлан.

Я спросил: — можно ли где-нибудь здесь достать, стремя?

— Стремя? — переспросил старик и задумался. — Да можно, — ответил он. — Вон там на холме есть улица,

в третьем доме направо под скамьей лежит стремя. Возьмите.

Я поскакал за стременем. Дом был отперт и пуст. Над дверью в притолоку было воткнуто веретено. Под лавкой в пыли лежало старое медное стремя, — я поднял его и рассмотрел, — это было стремя, оставшееся, быть может, от Александра Великого —

И — я видел подлинную Элладу.

Мой спутник спросил старика:

— Где здесь Траллы?

— Траллы — здесь! — ответил старик.

Старик повел нас в дом, такой же пустой, как все. Из меха он налил в глиняный сосуд красного вина и подал нам козьего сыра. Старик был молчалив и торжественен. Он держался хозяином, магнатом этих мест, но он кланялся подобострастно. Мне показалось, что старик не совсем нормален так, как ненормальны под старость бывают очень многие русские старики-крестьяне. Мы отдыхали перед тем, чтобы пойти по развалинам. Старик просил подождать, когда придет с гор мальчик. Я рассматривал старика: он был чудесно красив, поистине правнук Диониса в грязном своем плаще, седокудрый старик с гордыми глазами. Мы спросили, что он здесь делает, как уцелел он здесь, он, грек, — старик ответил невнятно.

Мы не дождались мальчика с гор и пошли по мертвым развалинам. Старик шел с нами, как магнат и сторож. Старик заговорил о древностях, он все знал лучше наших справочников, бродя по векам истории, — но старик говорил о каждом доме, кто в нем жил и что в этом доме осталось, — так же, как говорил о веках. Мой переводчик сказал мне, что старик говорит только в настоящем времени, сдвинув время истории. Старик снял в одном доме

светильник и подарил его мне, светильник, которому полторы тысячи лет, из черной глины.

Старик указал нам на пыль в горах и сказал, что это мальчик гонит отару. Старик говорил о мальчике торжественно.

И к нам подошел мальчик с гордой головой на хрупкой шее — тот самый, которого я видел в Музее древностей в Стамбуле на холме Гюль-Ханэ. У ног мальчика были козы и сторожевые псы. На плечах мальчика был рыжий плащ из овечьей шерсти. В руках мальчика была суковатая палка.

Я знаю: в ветре и солнце я видел тогда подлинную Элладу, подлинного эллина, — пусть — Малую Азию — у истории — съели козы. Театральный Мастер не забыл, что Эвантэа была городом великих театральных действий.

В торжественности заговорил старик, указывая на мальчика:

— Мы здесь вдвоем. Я здесь один. Я охраняю эти места. Мальчик из Тралл еще жив. Эллада — жива!

Старик указал рукою в сторону гор, старик — гениальным актером — глянул над моей головой. Старик был величественен. Он повторил тихо, сам себе:

— Мальчик из Тралл еще жив!..

...Солнце и ветер. Ноябрь, и поэтому прохладно, как в России около второго, яблочного Спаса, — и солнце и ветер тогда крепки и благоуханны, как антоновское русское яблоко.

Ямское Поле,
30 декабря 1927 г.

ОРУДИЯ ПРОИЗВОДСТВА

I

Писатели в России — налоговой сеткою Наркомфина — приравнены к кустарям без мотора: и поистине, писатели — очень долгие сроки — были безмоторными кустарями. Этот рассказ посвящен орудию писательского производства. Папирус — папир — бумага в тысячелетиях человеческой истории сменили восковые пластинки, письмена на глине, иероглифы на известняках. Иероглифы восточных философов и ученых записывали не звуки, но понятия, — финикийская грамота, та, которая породила европейскую, ту, на которой и я пишу сейчас, записывает не понятия, но звуки. Уже тысячелетие на Западе пишут пером, сначала гусиным, теперь стальным, — и тысячелетия на Востоке пишут кистью. На Востоке пишут, сидя на земле, подогнув под себя ноги, взяв на колени бумагу, — или пишут лежа, как пишут в Японии, кистью и тушью. — И весь, и весь человеческий мозг, за все, за все тысячелетия человечества — всегда проливался на бумагу, — все, сделанное и созданное человеком, было пролито на бумагу, все вечное в человечестве, его истории и его строительстве — отдано было — папирусу — папиру — бумаге.

...Каждый листок бумаги, исписанный человеком, знакомым мне иль неизвестным, на всех языках, которые

встречались мне, безразлично — знакомых или неизвестных, — все, от детских каракуль, от счетов московских, токийских и лондонских магазинов до писем и манускриптов, моих и чужих, — тщательнейше все разглаживаю я, храню, берегу, ибо: — —

— — пусть читатель представит — —

— — читателю попались в руки русские (иль английские) счета из лавок осьнадцатого века, — читателю попала в руки связка писем (русских иль французских), зауряднейших, семейных, будничных писем того же осьнадцатого иль даже девятнадцатого века: качеством бумаги, почерком, орфографией, синтаксисом, фонетикой языка, фактурой, понятиями — читатель будет вдыхать эпоху. — Каждая, каждая писанная наша строчка через столетие будет так же благоуханна, как та, которая написана столетью тому назад.

Человеческие национальные культуры выплескиваются за свои национальные заборы: — — в Лондоне у букиниста (напротив Британского музея) я купил русскую, осьнадцатого века, поваренную книгу, — по-английски, выцветшими буквами, на книге написано, что книга приобретена в городе Севастополе в 1854-м, Севастопольской кампании, году; — в Пекине в русском посольстве мне подарили книгу «Географическое, историческое, хронологическое, политическое и физическое описание Китайской Империи и татарии китайския», отпечатанную в Санкт-Питер-Бурхе в типографии императорского сухопутного шляхетского кадетского корпуса в 1774 году; — обе эти книги у меня в Москве: — какими словами передать о тех часах раздумья, которые были у меня, когда я читал эти книги, столетием и морями закинутые столь необычно далеко? — пусть через столетие мой правнук такую же подарит радость другу-японцу иль китайцу, передав ему один из моих ящиков с бумагами, ящик,

в котором собраны китайские и японские бумаги, письма, лоскутки бумаг.

Да, миры национальных культур переплескиваются сейчас через свои заборы.

II

Я — кустарь, но у меня есть — мотор, мое орудие производства.

В Лондоне я купил себе пишущую машинку, дорожную, такую, которая укладывается в маленький чемоданчик. Я купил машинку за день до отъезда из Англии, — и в белесой сини Северного моря, на спардеке я впервые в жизни сел за машинку, чтобы научиться на ней писать. Я играл в машинку, — играя, я учился: таким образом тогда я написал рассказ «Speranza». Потому что кругом тогда была пустынная синь осени и Северного моря, — потому что я учился писать на машинке, играя, — машинка вошла в мою писательскую кухню покойным, веселым товарищем, — именно — покойным, веселым.

Уголь, карандаш, темпера — определяют рисунок так же, как акварель и масло — живопись: теоретики литературного искусства должны изучать влияние на литературные стили — кисти, пера, машинки.

Я знаю, как пишут многие мои товарищи: одни пишут в тетрадях, другие на отдельных листках, разрезывая бумагу по своему вкусу, — одни пишут синими чернилами, другие черными, — у каждого свое излюбленное перо, — столы у одних во время писания совершенно пусты, другие прячутся в горы книг: надо л ю б и т ь перо, бумагу, чернила и стол. — Надо не замечать «бук», «глаголей», «азов» и «ведей», когда пишешь.

За машинкой надо сидеть, как за рабочим станком, над нею, прямо, чтобы руки были, как у рояли, в уровень клавишам машинки. Уметь владеть машинкой — мастер-

ство, как всякое умение владеть инструментом. Машинка организует мысли. Я могу писать только на своей машинке, я знаю каждую ее клавишу, каждый ее винт и каждый ее недостаток.

Тысячелетиями человечество писало кистью, карандашом и пером: человечество наших поколений знает новый способ — способ писания на машинке. Я научился впервые владеть машинкой в пустынной сини осени и Северного моря, того моря, которым за многие столетия до меня бродили норманны, вести о себе подавая наивными письменами в засмоленных бутылках.

Та пишущая машинка, которую я купил в Лондоне, прожила со мною три моих бродяжеских и очень напряженных года. Тогда, проплыв со мною от Кардифа до Кронштадта, та машинка товарищем была со мною в Северном Ледовитом океане, под 80-м градусом северной широты, около островов Уиджа, на шпицбергенских угольных копях, на Мурмане, — была на Средиземном море, в Константинополе, в Афинах, в Яффе, в Смирне, на Тысяче Островов Адриатики, под Олимпом, — вместе со мною на аэроплане та машинка была над — Подкаменными — Приуральскими землями, над Камой, Вычегдой, Вишерой, над Коми-областью, над Северной Двиной, — вместе с нею я коротал мои московские, саратовские, коломенские, одесские, кореизские дни, — вместе со мною она разматывала версты и время Великого Сибирского Пути, Манчжурии, Кореи, Японии, центральных китайских провинций, Ян-Цзы-Цзяна... Сколько моих мозгов — не по-есенински — я пролил на ту машинку, ибо никому — ни другу, ни жене — я неверял столько, сколько поверил самому себе — машинкою, верным товарищем, свидетелем, соработником.

В Шанхае я купил себе новую машинку, вот эту, на которой пишу сейчас.

III

И вот выписи моего шанхайского дневника, за те дни, когда я купил машинку. Тогда у меня было страшное одиночество оторванности от всего моего мира: в русской ссылке больше народу, с кем можно было бы разговаривать, — русские газеты приходили к нам через месяц. Я жил на квартире нашего шанхайского генерального консула, в том самом доме, который был терроризован полицией в апреле 1927 года. Я был там в июле, в ужасной, в отчаяннейшей, деморализующей жаре. Я, как многие в доме номер 1-й на Ванпу-роад, деморализуясь жарою, одиночествовал ссылкой, в ожидании парохода, который должен был понести меня на Сингапур, на Аден, Черным морем в Средиземье, мимо Византии в Одессу, в Москву.

Вот последняя запись, сделанная на старой машинке: «Ночь (с 16-го на 17-е) июля.

Сегодня принесли мне новую пишущую машинку: на этой допишу этот листок, — и она отслужила мне свой век!.. — Ночь, трещит сверчок, — неизвестно, когда китайцы спят, — прилив, и на реке шум проснувшихся на сампанах китайцев. На диване передо мною, на полке, стоит улыбающийся китайский бог, которого я купил на Ян-Цзы: — улыбается — и я думаю о яде «маманди» (китайское слово — «погоди», «не торопись»), о яде ожидания, неизвестности, — это «маманди» улыбается мне китайским богом, всем Китаем, — «маманди»!..

...Да, прощай, друг, мир тебе и прах!.. верный был друг, которого я купил... — «Купил» — «друга»: совсем по-бувински — «хорошо бы собаку купить!» — Тогда купил, в Лондоне, за сутки перед путиной домой, — и теперь купил тоже, в эти же числа, тоже вне России, тоже перед путиной домой. Новая лежит на диване, смотрю на нее, как на чужую, чуть-чуть враждебную, нарядную, слиш-

ком «машинную», — и жалко мне друга, — друг составил под моими руками, передуманный, пережитый. Он, этот брат и соратник, послезавтра поедет в Россию, будет где-нибудь за письменным столом ждать меня. Поистине есть «живая жизнь» мертвых вещей, — тебе осталось только несколько строк нашего братства: неверность есть жизнь, — это жизнь — идти к обновленному, новому, усовершенствованному. Так идет каждый, пока у него есть силы, должен идти, потому что каждый потом будет сброшен на слом смертью. — Прощай, прости!..»

И вот первая запись, сделанная на новой машинке:

« - » § 1⁰/₀ а ' ? ! № — это проба знаков машинки.

— Здравствуй, племя молодое, незнакомое! — это я приветствую новую машинку. — Вот она лежит под моими руками, — это я учусь писать на ней, и она мне безразлична. Так, должно быть, всегда, когда уходит вещь: — вещь уходит, вещь! — Нельзя, не надо пророчить — это по-азиатски-русски... И надо метить вперед, думать вперед — это по-петербургски-русски. Пусть безлюбовно — надо, всегда надо перед машиной подбираться, сосредоточиваться — —»

— Глупо, смешно, наивно! — совершенно верно: но так было тогда записано, и не всех наивностей и глупостей следует бояться. Это я пишу сейчас, в Москве, много месяцев спустя после Шанхая. Я помню, как тогда я сидел над новой машинкой и над старой, перебирая в памяти мой путины и сроки. Глупо, наивно я записал тогда, — но до сих пор мне стыдновато перед машинкой, перед покинутым другом.

IV

Тогда в Шанхае я припоминал, что было написано мною на старой моей машинке. Здесь, в Москве, я связал в отдельный чемодан то, что было на старой машинке

написано. Очень много, очень много исписано мною на ней бумаги, писем, дневников, рассказов, повестей «Машин и Волков»: все это сложено в чемодан.

Очень возможно, что этот чемодан мне уже не будет досуга вскрыть самому: стало быть, его перечитает кто-то другой, сын, внук, правнук.

Но — вот, что я думал, связывая этот чемодан. — Какую малюсую малость, какой промилль промилля, какую бесконечно-малую величину написал я, какое ничтожно-малое количество бумаги исписал я — по сравнению с тем, что написало и исписало человечество за все тысячелетья всяческих его грамот!

И еще думал о том, что если у отошедших тысячелетий орудиями письма были кисть и перо, если у теперешнего столетия орудием письма есть машинка, — орудие письма неминуемо влияет на стили (и литератур, и эпох), — если все это есть, — то никак нельзя знать, какой стиль будет у грядущих тысячелетий и как человечество будет — перед лицом вечности — записывать свое время, — быть может, даже совсем без букв.

Наркомфин неправ: — конечно, я кустарь — с мотором.

Москва, на Поварской,

1 мая 1927 г.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	<i>Стр.</i>
Расплеснутое время	5
Целая жизнь	16
Смерти	27

Р а с с к а з ы о м о р я х и г о р а х

Всегда командировка	37
Вещи	60
Жулики	64
Человеческий ветер	72
Грэгго-тримунтан	83
Поокский рассказ	97
Без названья	118
Верность	125
Телеграфный смотритель	134
Смертельное манит	145
Земля на руках	152
Город ветров	159
Старый сыр	179
Нерожденная повесть	197
Олений город Нара	203
Лорд Байрон	213
Синее море	227
Мальчик из Тралл	248
Орудия производства	254

ЧИТАТЕЛЬ!

Отзывы об этой книге пошли по адресу:

Москва, Ильинка, 3,

ГОСИЗДАТ,

с редакцию журнала

„КНИГА И РЕВОЛЮЦИЯ“

★



1 9 3 0

ДВА РУБЛЯ ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК